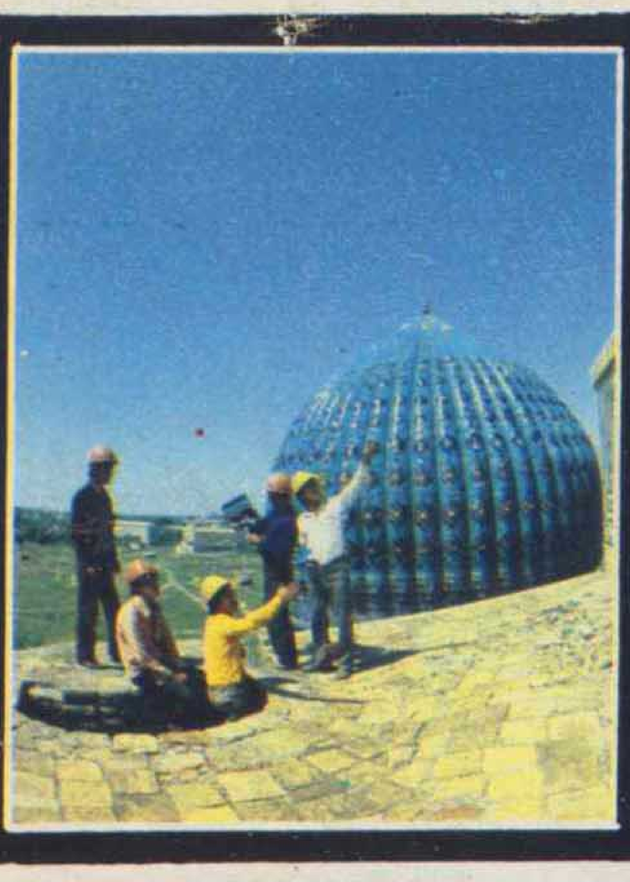
ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА

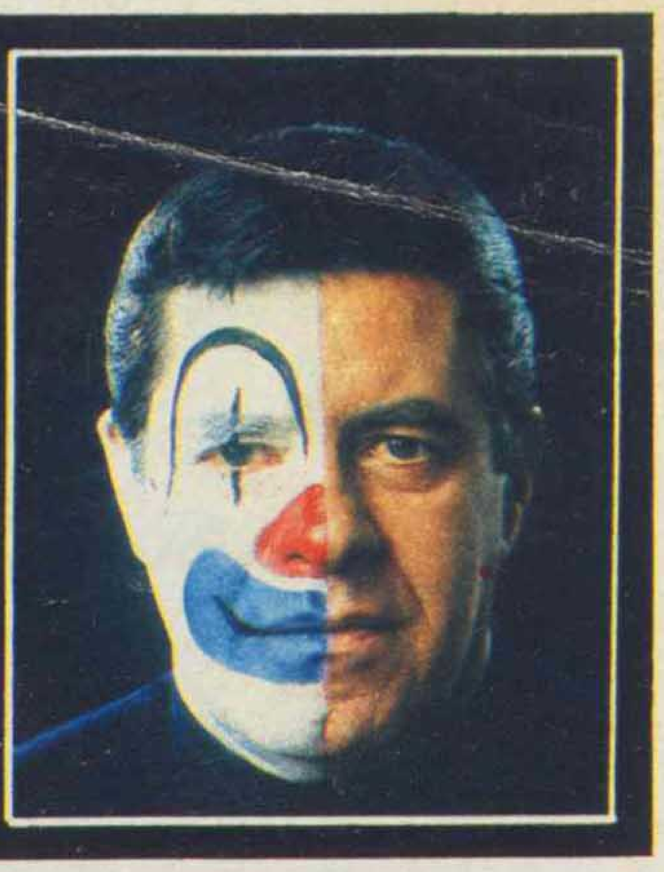
№ 26 ИЮНЬ 1987

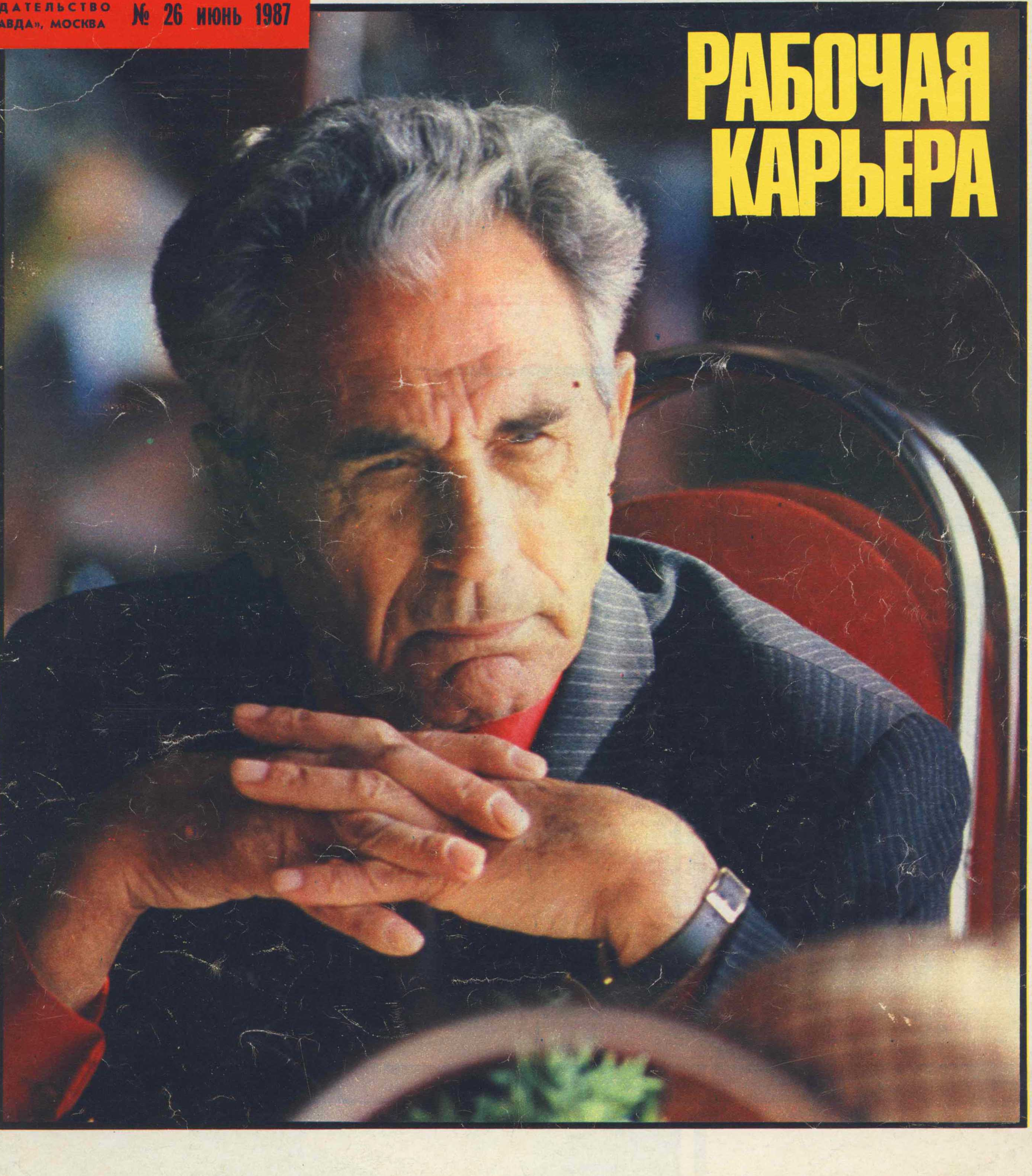


УХОДЯТ В НЕБО КУПОЛА

Вс. ИВАНОВ: ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА «У»

Э. АДАМС — АМЕРИКАНСКИЙ ФОТОГРАФ





Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОГОНЁК

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан 1 апреля 1923 года

№ 26 (3127)

27 ИЮНЯ—5 ИЮЛЯ

© Издательство «Правда», «Огонек», 1987.

Главный редактор — В. А. КОРОТИЧ.

Редакционная коллегия:

Д. Н. БАЛЬТЕРМАНЦ,
Д. В. БИРЮКОВ,
Л. Н. ГУЩИН (первый заместитель главного редактора),
К. А. ЕЛЮТИН,
В. П. ЕНИШЕРЛОВ,
Н. А. ЗЛОБИН,
Д. К. ИВАНОВ (ответственный секретарь),
А. Ю. КОМАРОВ,
Ю. В. МИХАЛЬЦЕВ,
В. Д. НИКОЛАЕВ (заместитель главного редактора),
Ю. В. НИКУЛИН,
А. Г. ПАНЧЕНКО,
А. Б. СТУКОВ,
С. Н. ФЕДОРОВ,
Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО.

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:

Петр Кондратьевич Колесников (см. в номере очерк Владимира Карпова «Рабочий»).

Фото Льва ШЕРСТЕННИКОВА

Оформление Н. П. КАЛУГИНА при участии О. И. КОЗАК.

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.

Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп., на полгода — 10 руб. 38 коп., на квартал — 5 руб. 19 коп.

Телефоны редакции: Секретариат —212-23-27; Отделы: Публицистики —212-21-88; Коммунистического воспитания —250-38-17; Международный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69; Искусства — 212-15-39; Писем и массовой работы —212-22-69; Фото —212-20-19; Оформления —212-15-77; Литературных приложений — 212-22-13.

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Сдано в набор 05.06.87. Подписано к печати 23.06.87. А 05087. Формат 70×108 1/8. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55. Усл. кр.-отт. 16,80. Тираж 1 500 000 экз. Изд. № 1794. Заказ № 727.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

КАСКАД

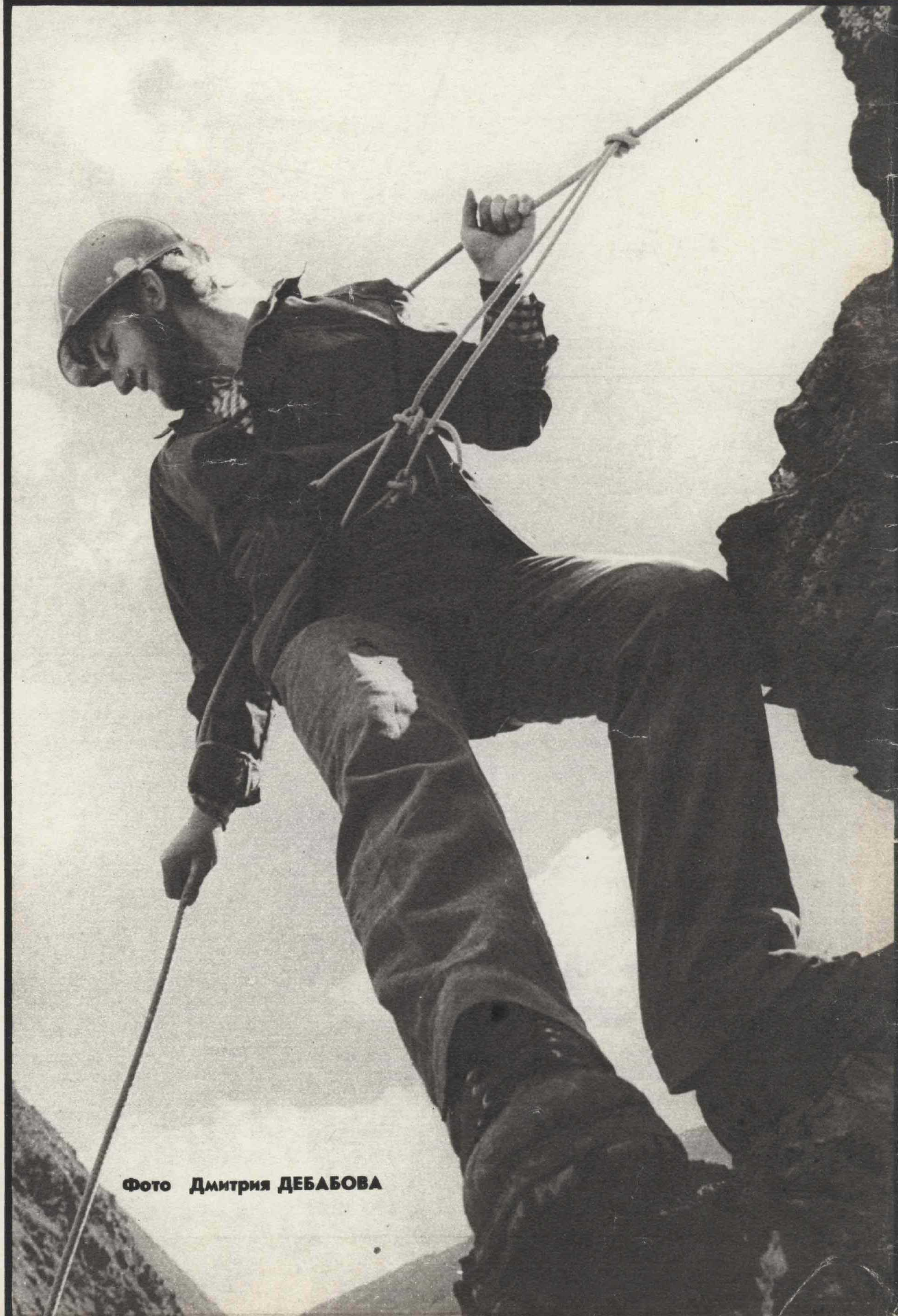
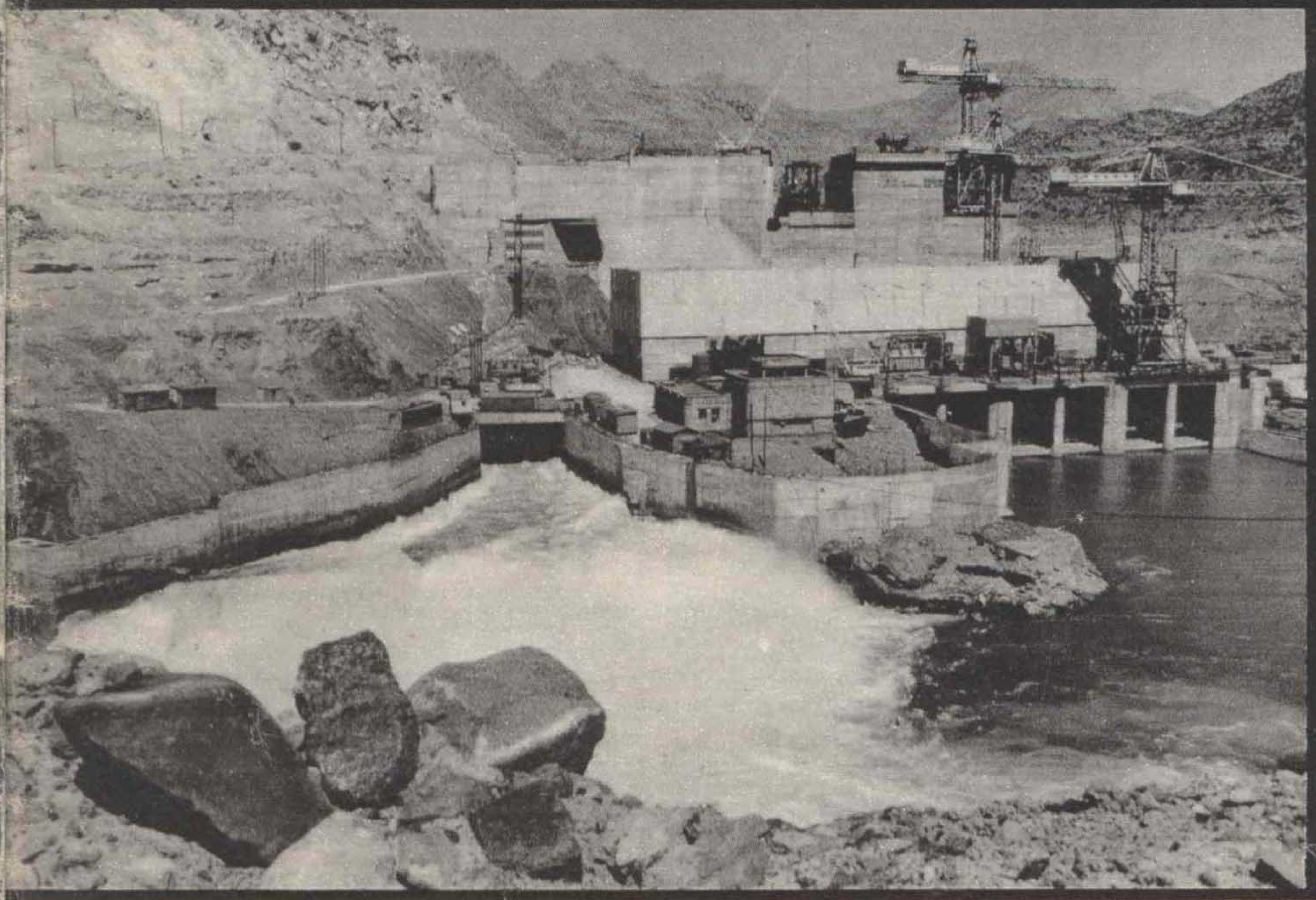


Фото Дмитрия ДЕБАБОВА



Скалы живут своей жизнью. Время от времени «саморазгружаются», осыпая ущелье градом камней. Нужно защитить людей, работающих внизу, опоясать скалы ловушками, вот и висит над пропастью человек на веревке. В руках у него тяжелый перфоратор, которым и на земле не очень легко работать, а на головокружительной высоте — тем более. Похожий на долгий ожог, гуляет по трубе ущелья ветер, покачивает скалолаза, как будто пробуя прочность креплений. Летом ветер с пылью, зимой — со снежной крупой. Не увернешься, не спрячешься.

Пока здесь, на Нарыне, прокладывали дороги, пробивали тоннели, пока возводили плотину Токтогульской ГЭС, крупнейшей в Киргизии, ежедневно звучал девиз строительного ускорения: «Давай-давай!»

Переправляли многотонные бульдозеры над пропастью по натянутому тросу на другой берег реки, закрепляли так называемые неустойчивые массивы весом до 500—600 тонн, укрощали вставшую на дыбы напрягшуюся горную твердь.

На участке трассы дороги «Красная порода» под неожиданно рухнувшей скальной стеной в раздавленном экскаваторе погиб машинист Филиппов. Погиб Юрий Ратушный, погиб Анатолий Охрименко... Во время камнепадов створ плотины для всех видов работ был закрыт. Бригады сидели и ждали погоды, как могут ждать только летчики и хлеборобы.

...Возвели плотину 215-метровой высоты, заставили своенравную реку вращать турбины, изготовленные с часовой точностью. Построили станцию на уровне мировых стандартов, а сами жили в вагончиках, бараках, в рассчитанном на 25 лет поселке-времянке Кара-Куле.

25 лет уже прошли...

Улицы, если смотреть на них сверху, выглядели ненадолго замершими эшелонами деревянных утепленных вагончиков, поставленных с колес на землю. Казалось, эшелоны-улицы постоят, постоят да и двинутся дальше в путь. Но нет, застыли, задержались и... стали обрастать кирпичными бараками. Высоких домов первое время строить не решались: на месте Кара-Куля раньше было селение, сметенное в 1946 году могучим чаткальским землетрясением.

Устройство быта считалось делом второстепенным, почти недостойным внимания энтузиастов, приехавших на ударную стройку. Впрочем, трудно создать сразу посреди скал, в сейсмоопасном районе, где узенькая, петляющая над пропастями дорога — единственный путь сообщения с миром, благоустройство и изобилие. Холод, сырость, скверное снабжение (наладить торговлю в новом поселке оказалось труднее, чем повернуть вспять Нарын) — все это казалось неважным. Кто-то уезжал. Происходил отбор.

— Я сюда не жить приехал, а работать, станцию строить,— рассказывает знаменитый бригадир бульдозеристов Анатолий Курашов.— Думал, временно, а вот, глядите-ка, живу в Кара-Куле третий десяток лет. Мне во Фрунзе дали квартиру со всеми удобствами (у нас многим ветеранам стройки дают квартиры в больших городах), но у меня теперь и здесь все удобства.

Постепенно налаживалось житье-бытье, появлялись традиции, приходил достаток. Открылись филиалы института и техникума, строились детсады, больницы, школы, бассейны; на гравийной подушке, для сейсмоустойчивости, вырос микрорайон многоэтажных домов.

Кара-Куль развился вширь и ввысь, называется теперь городом. В прошлом году здесь снесли последний барак, на каракульца приходится ныне около восьми квадратных метров благоустроенного жилья. Своей великолепной зеленой шевелюрой, цветущими садами обязан город садовнику Афанасию Григорьевичу Зенкевичу, который в свое время раздавал жителям саженцы фруктовых деревьев.

Строительство станций нижнего каскада подходит к концу, объекты удаляются от Кара-Куля. Каждое утро в любую погоду и время года в половине седьмого на Камбаратинскую ГЭС, строящуюся станцию верхнего каскада, отправляется из города автобусная колонна с рабочими. Полтора-два часа пути по горной дороге не шутка: с ближней скалы вдруг начинается камнепад или преграждает движение многотонный «чемодан». Осенью и весной саи (горные речки), словно спохватившись, стремятся выдать как можно больше грязе-каменной массы, и еще вчера отличная асфальтированная дорога то там, то здесь становится вдруг непроезжей. Нормировщики составляют акт на пропавший рабочий день.

— Если бы мы смогли решить вопрос жилья рабочих вблизи стройки, освободиться от изматывающих «маятниковых» перевозок, это открыло бы новые возможности организации труда, повысило производительность и в конечном счете значительно приблизило пуск Камбаратинской ГЭС,— говорит начальник «Нарынгэсэнергостроя» Казбек Хуриев.

Столицей верхнего каскада, в котором будет 12—15 станций, станет поселок Камбарата с сейсмоустойчивыми капитальными домами, предполагаемая норма жилплощади на человека — около пятнадцати квадратных метров... Но, к сожалению, все это лишь *будет*: домостроительный комбинат в Камбарате сможет выдать первую продукцию только в конце будущего года, а других строительных материалов для поселка почти не дают.

Станции на Нарыне возводятся каскадным методом, основным принципом которого является непрерывность их ввода. Казалось бы, работы должны осуществляться в плановом порядке — ГЭС и жилье строиться одновременно, но жилья нет, и первопроходческая эпопея повторяется снова: холод, неустроенность и... энтузиазм.

Александр МИХАЙЛОВСКИЙ

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ЖЕНЩИНЫ МИРА В МОСКВЕ

Что нужно сделать для того, чтобы предотвратить войну? Как обеспечить мир и счастье детям? Нет на нашей планете женщины, которую бы не волновали эти и другие насущные вопросы, и чтобы обсудить их, в Москву на Всемирный конгресс женщин съехались 2286 его участниц из 154 стран и 78 региональных международных организаций. Девиз конгресса «К 2000 году—без ядерного оружия! За мир, равенство, развитие!» встретил самую широкую поддержку среди женской общественности мира. В нем участвуют парламентарии, рабочие, министры, фермеры, учителя, домохозяйки, ученые, деятели искусств, отметила, открывая форум, президент Международной демократической федерации женщин Фрида Браун. Цель пятидневной встречи в Москве: в откровенных диспутах и беседах выслушав мнение друг друга, обменяться взглядами по самым важным проблемам жизни женщин, а главное — содействовать активизации их усилий в борьбе за мир.

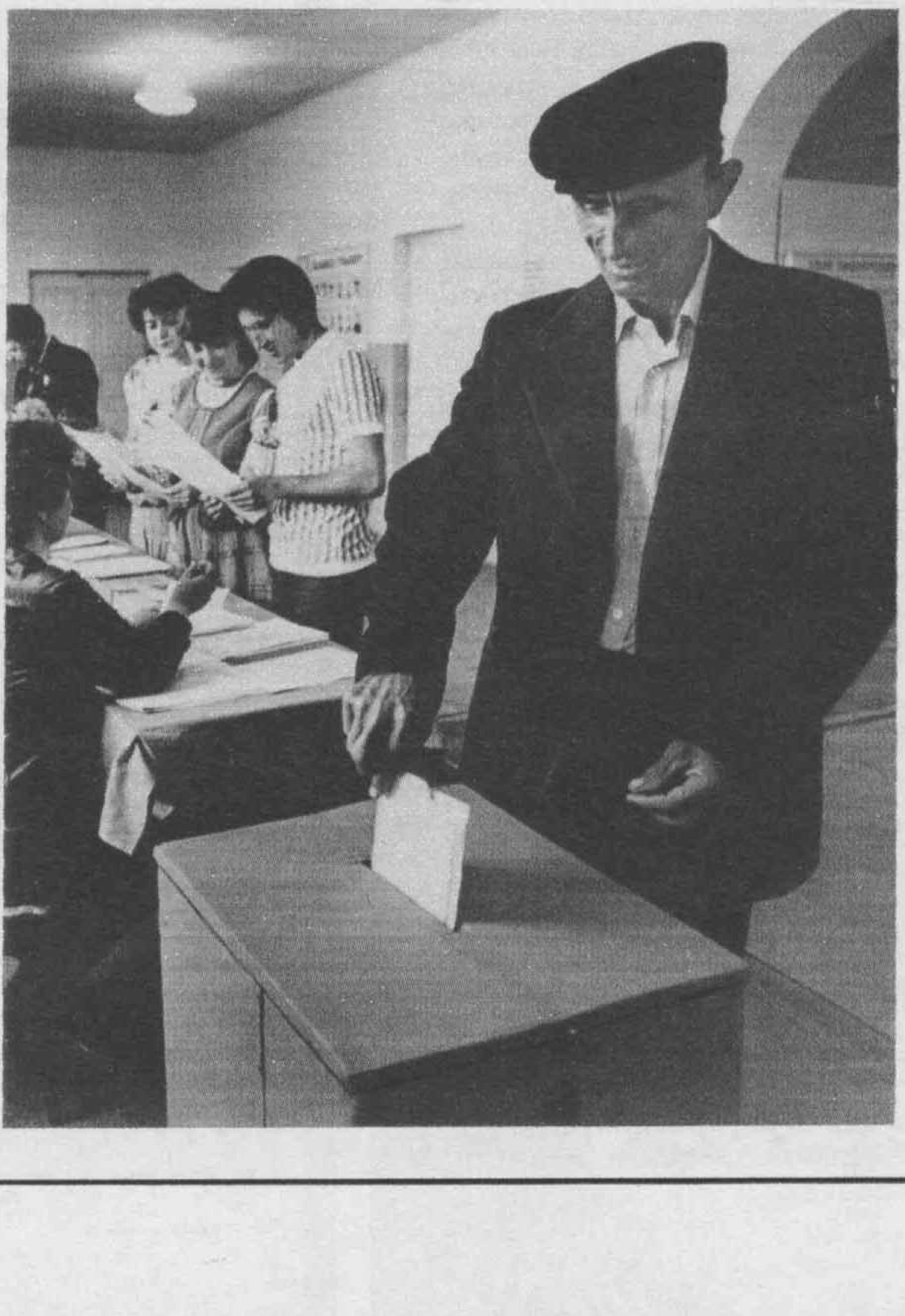
«Каким быть миру в 2000 году и после него, во многом зависит от вас, женщин»,— подчеркнул в своем письме конгрессу Перес де Куэльяр, генеральный секретарь ООН.

Тепло встретили участницы всемирной встречи женщин в Москве выступление Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева, который отметил, что международное женское движение заметно укрепило потенциал мира и стало реальным фактором политики.

Новелла ИВАНОВА,
фото Геннадия КОПОСОВА

ГОЛОСА

21 июня по всей нашей необъятной Родине прошли выборы депутатов местных Советов и народных судей. «Огонек» дважды рассказывал о проведении важной политической кампании в Красненском сельсовете Гродненской области. Для здешних избирателей, как и для миллионов советских людей, этот день был отмечен особой приметой: веря в реальность перемен, они голосовали за развитие и укрепление демократии, за расширение гласности, за успех перестройки.



Александр ЩЕРБАКОВ,
Дмитрий ДЕБАБОВ (фото),
специальные корреспонденты «Огонька»

Остуховский избирательный участок в той же школе, где выдвигали кандидатов в депутаты, где давали потом им наказы. Дверь с утра то и дело открывается и закрывается, входят и выходят люди — нарядные, возбужденные необычностью нынешнего дня. Выборы в, Красненский сельсовет проводятся по экспериментальной многомандатной системе. Из семерых внесенных в список кандидатов депутатами станут пятеро. Надо решить, кому отдать свой голос, чтобы потом не сомневаться, что избранному депутату можно доверять, можно с него спрашивать по самым строгим меркам сегодняшнего порядка.

Возвращаясь к двум предыдущим нашим рассказам об избирательной кампании в Красненском сельсовете (№№ 19, 24), подчеркну еще раз: люди заинтересованнее относятся к деятельности самого близкого к ним органа Советской власти — сельсовета. Хотят видеть его максимально правомочным и предельно активным. И все реальнее ощущают связь между плодами своей работы, между своим отношением к жизни и утверждением широкой демократии. И, ко-

НАДЕЖДА НА ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ

Встреча в Дагомысе уже стала историей. Здесь, на Черноморском побережье, в рамках Всемирной кампании за разоружение, проводимой под эгидой ООН, прошла встреча экспертов по теме «После Рейкьявика: планирование на 90-е годы». В обсуждении вопросов, касающихся ядерных, космических и обычных вооружений, принимали участие видные ученые, военачальники, политические и общественные деятели, дипломаты из 25 стран.

Свои позиции мы предложили изложить за «круглым столом» некоторым участникам дагомысского форума. Это заместитель министра иностранных дел СССР А. А. БЕССМЕРТНЫХ, советник президента и государственного секретаря США по переговорам о сокращении вооружений Эдвард РАУНИ, профессор центра по исследованию проблем мира Венского университета Зигрид ПОЛЛИНГЕР и директор управления по делам ООН и вопросам разоружения Министерства иностранных дел НРБ Димитр КОСТОВ.

А. А. Бессмертных. Встреча на высшем уровне в Рейкьявике явилась поворотным пунктом в деле концептуального обоснования и практического решения коренной проблемы современности — ликвидации ядерного оружия. Значимость события в том, что руководители двух держав, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами, вплотную приблизились к выработке дипломатической формулы, которая обеспечивала бы договоренность. На практике было успешно испробовано с советской стороны новое мышление, основанное на политической воле и решимости. К сожалению, столь решительный прогресс в глубинном осмысливании современной ситуации многими на Западе был воспринят как еретический.

Э. Рауни. В США мы выступаем за контроль над вооружениями и за сокращение вооружений. На мой взгляд, весьма важным остается обращение к коренным проблемам, первопричинам, из которых произрастает обстановка в мире. Как говорил президент Рейган, люди не верят друг другу не потому, что они вооружены, напротив, они вооружаются, поскольку лишены доверия. Вот почему весьма важно сосредоточить внимание — с предложением этого мы прибыли в Дагомыс — на трех «столпах» в наших отношениях. Ими, во-первых, являются региональные конфликты, развитие двусторонних отношений между гражданами наших стран, во-вторых, и, в-третьих, — права человека. Проблема контроля над вооружениями занимает свое место лишь в контексте проблем, которые я называл. Соглашусь с мнением Генерального секретаря Горбачева, который говорил о важности сокращения стратегических систем. Проблема действительно ключевая, но не менее важно решение вопросов и по сокращению обычных вооружений и химического оружия. Одним словом, широкий подход, за который мы выступаем, является наилучшим.

Д. Костов. Политика строится не только на дискуссиях и предложениях, но и на практических действиях. Доверие, а затем разоружение или разоружение, за которым последует доверие? Что главное, а что вторичное?.. Помните, еще в Лиге наций велись на эту тему дискуссии, которые так ни к чему и не привели, вернее, привели к плачевному результату. Американская сторона буквально навязывает принять в политический оборот свою стратегическую оборонную инициативу. Но ведь предложения Западу участников совещания Политического консультативного комитета государств — участников Варшавского Договора в Берлине до сих пор остаются без ответа! Думаю, не ошибусь, если назову военную доктрину, принятую на берлинской встрече, одним из элементов всеобщей безопасности и одним из шагов в девяностые годы...

З. Поллингер. Наша встреча сближает позиции, в этом я уверена. Наибольшее впечатление во время рабочей дискуссии произвело на меня выступление советского генерал-полковника Николая Червова. Он, полемизируя со своим американским коллегой Дэниелом Грэхемом, настаивал на том, что сейчас безопасность может быть только общей для Запада и для Востока. Все акции по разоружению как сегодня, так и в будущем должны учитывать одинаковую безопасность для обеих сторон. Но, признаюсь, аргументы генерал-лейтенанта Грэхема в пользу СОИ лично меня не убедили.

А. А. Бессмертных. Свою роль, повидимому, сыграло и то, что перевороты в физике и военной технике обгоняют перевороты в политическом мышлении. Мы слишком долго топтались на месте, да и сейчас, если принять безоговорочно концепцию «трех столпов» генерал-лейтенанта Рауни, нам слишком долго пришлось бы ждать, пока в США решат проблему бездомных и безработных. Наивно, когда возникает вдруг умозрительная зависимость сокращений стратегических вооружений от проблемы прав человека. Что-то здесь напоминает ультимативный метод ведения переговоров. В следующее десятилетие не хотелось бы переходить со старым багажом и практикой.

З. Поллингер. Коль мы говорим о планировании на следующее десятилетие, хочу напомнить о жившем в древние времена философе Августине. Он утверждал, что желание жить в мире является естественным состоянием, характерным для всех людей. С прискорбием отмечаю: мира до сих пор каждый желает достичь по-своему... Именно доверие! Доверие может не быть полным, всеобъемлющим, но без взаимного, обоюдного доверия не будет никакого прогресса. Исторический опыт убеждает в этом.

Д. Костов. Как-то я слышал особенное объяснение так называемого «европейского парадокса». Раньше, если помните, непрерывно велись разговоры о возможности войн между Германией и Францией, между балканскими странами. Эти войны возникали. Сегодня на линии Восток — Запад накоплен страшный по силе и мощности военный потенциал, и, хотя не говорят открыто о войне, весь мир в напряжении. Стоит ли снова ожидать появления разговоров о войнах, не лучше ли объявить Европу безъядерной зоной мира? Практические шаги в этом направлении весьма обнадежили бы всех жителей Земли...

* * *

Соорганизатором форума в Дагомысе стал Советский комитет защиты мира. К его председателю Г. А. БОРОВИКУ мы обратились с просьбой прокомментировать итоги встречи экспертов ООН:

— Рейкьявик стал водоразделом и одновременно навел мосты в будущее. Начался конец эпохи ядерных вооружений, концепций устрашения и сдерживания. Философской мысли еще предстоит в полной мере осмыслить происшедшее во время встречи на высшем уровне в исландской столице. Судя по результату, она готовилась тщательно... Я точно уверен: во время встречи в Дагомысе закладывались основы будущих таких встреч.

Из утопии разоружение стало реальностью еще и потому, что настал час активных действий в пользу мира. А любое действие, как вы знаете, обязательно приведет к результату.

Встречу за «круглым столом» записал специальный корреспондент «Огонька» Владимир Ковалев.

нечно, не случайно больше всех голосов собрал 21 июня Сергей Евушко, заведующий вторым производственным участком здешнего колхоза «Маяк». Молодой специалист, он в трудную, долго испытывавшую терпение земледельцев весну этого года проявил себя великолепным организатором, грамотным специалистом, добросовестнейшим человеком. Его предвыборная платформа выглядела к 21 июня весьма убедительно: густая пшеница, обещающий полновесное зерно ячмень, светлая зелень льнов...

...Пришел голосовать Евгений Антонович Гришан, глава молочного комплекса, он выдвинул кандидатом в депутаты доярку Нину Феофановну Качан. Проголосовал, разговорились.

— Как на комплексе?

— Прибавляем заметно каждые сутки. На 56 тонн надоили больше, чем за пять месяцев прошлого года. И еще вот чем похвалюсь. Обходимся без подкормки. Стараемся считать, считать, считать: теперь же для нас экономика — в каждом грамме кормов, в каждой минуте, в каждой паре рабочих рук...

Какие еще события в «Маяке»? Хорошо прошли экзамены в Остуховской школе, подвигается строительство Дома культуры на центральной усадьбе колхоза. Ну, а председатель правления Станислав Валерьянович Лычковский недоволен: мешают перебои со стройматериалами, многое, как в худшие времена, приходится по-прежнему «пробивать», выпрашивать, доставать. Хочется, чтобы к Новому году сдали помещение под отделку. Сдадут ли? Уверенности, к сожалению, нет...

Вовсю идет сеноуборка. Погода, правда, не в меру часто пытается дождями экзаменовать колхозников, но они приноравливаются и успевают в погожие часы сделать столько, сколько при ином настрое брали бы неделями.

К половине первого на Остуховском участке проголосовали почти все, проголосовали дружно. Кто не спешил, посмотрел потом концерт доморощенных артистов. И разошлись: летом деревня отвыкает отдыхать. Разошлись заниматься делами и, разумеется, ждать результатов голосования.

По Остуховскому многомандатному экспериментальному округу № 4 картина такая: заведующий производственным участком Евушко Сергей Александрович получил 334 голоса и 10 против; заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Бумай Галина Иосифовна — соответственно 320 и 24; шофер Шабан Аркадий Иосифович — 302 и 42; доярка Качан Нина Феофановна — 282 и 62; директор школы Рокач Владимир Григорьевич — 279 и 65; полевод Пецевич Степанида Степановна — 278 и 66; председатель колхоза «Маяк» Лычковский Станислав Валерьянович — 276 и 68. Пятеро первых получают мандаты депутатов сельского Совета, двое последних остаются резервными депутатами. Таковы условия экспериментальной системы выборов.

Естественно, первый вопрос: почему меньше всех голосов получил председатель колхоза, опытный руководитель, авторитетный в хозяйстве и районе человек? Можно не сомневаться, что прежде всего потому, что другой формируется спрос с руководителя; то, на что вчера глядели сквозь пальцы, нынче замечают остро и непримиримо; хотят, чтобы побыстрее кончилось деление забот на важные и второстепенные, чтобы никто не рассчитывал на скидки, на прежние заслуги, на внушительность кабинетов и устойчивость кресел. Утверждается демократия!

Вместе с тем надо думать и думать, как скорее изжить соблазны, которыми она дразнит,— возможность свести счеты, удобрить почву для групповщины, даже просто получить удовлетворение от формального права захлопнуть перед кем-то дверь, право на безответственность, на фальшивое волеизъявление...

Словом, анализ прошедших выборов предстоит обстоятельнейший и серьезнейший. Ян Эдмундович Ольферович, председатель Кореличского райисполкома, очень правильно рассуждает насчет выводов:

— И активность нужно обеспечивать умнее и целеустремленнее, и депутатским запросам надо придавать больше государственной глубины, и об авторитете районного и сельского звена Советской власти надо заботиться так, чтоб имел он по-настоящему солидную правовую и материальную основу. Это — одно из важнейших условий успеха в перестройке.

...А в Красненском сельсовете уже начали готовить первую сессию нового созыва. Она соберется 3 июля. На ней, безусловно, состоится большой деловой разговор. Поводов для него предостаточно.

Гродненская область.

ФЕДОР

«МНЕ ОЧЕНЬ РАДОСТНО БЫЛО ПОЛУЧИТЬ ПИСЬМО ОТ ПИОНЕРОВ ОТРЯДА ИМЕНИ Ф. Ф. РАСКОЛЬНИКОВА ИЗ СЕЛА ГОЛЬЯНЫ УДМУРТСКОЙ АССР. ИЗ ИХ ПИСЬМА Я УЗНАЛ, ЧТО ЮНЫЕ ЛЕНИНЦЫ ВЕДУТ БОЛЬШУЮ РАБОТУ ПО СБОРУ МАТЕРИАЛОВ О ГЕРОЯХ РЕВОЛЮЦИИ, ПРОСЯТ ЗДРАВСТВУЮЩИХ УЧАСТНИКОВ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ПРИСЛАТЬ ИМ ВОСПОМИНАНИЯ О ТОМ ГЕРОИЧЕСКОМ ВРЕМЕНИ...»

ЭТИ СЛОВА, СКАЗАННЫЕ СТАРЫМ РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ, БОЛЬШЕВИКОМ С 1912 ГОДА У. И. МАНОХИНЫМ, ВОЗВРАЩАЮТ НАС К ДРАМАТИЧЕСКОЙ СУДЬБЕ, В КОТОРОЙ ПАРАДОКСАЛЬНО ПЕРЕПЛЕЛИСЬ РАЗНЫЕ ЭПОХИ НАШЕЙ ЖИЗНИ. КАК ГОВАРИВАЛИ ЛЮБИМЫЕ ГЕРОИ Ю. ТРИФОНОВА, ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ НИТЬ, ПРОТЯНУВШАЯСЯ СКВОЗЬ ВРЕМЯ, ТОНЧАЙШИЙ НЕРВ ИСТОРИИ, КОТОРЫЙ МОЖНО ОТЩЕПИТЬ И ВЫДЕЛИТЬ И — ПО НЕМУ ОПРЕДЕЛИТЬ МНОГОЕ.

Василий ПОЛИКАРПОВ,
доктор исторических наук

С ТОГО СВЕТА

Вместе с другими коммунистами, красногвардейцами, советскими работниками города Сарапула белогвардейцы затолкали У. И. Манохина в «плавучую тюрьму». Из Сарапула баржу отвели вверх по Каме и у села Гольяны поставили на якорь посреди реки. В течение многих дней людей морили голодом. «Кто хочет жить,— кричал в люк появлявшийся время от времени фельдфебель,— выдавай комиссаров, коммунистов и матросов!» Предателей в трюме не находилось. Заключенных группами выводили на палубу, расстреливали и сбрасывали тела в Каму.

Но вот дивизия В. М. Азина отбила Сарапул у белых. Сюда же после боев с вражеской флотилией адмирала Старка привел три миноносца («Прыткий», «Прочный» и «Ретивый») командующий красной флотилией Ф. Ф. Раскольников. 17 октября 1918 года он отправился спасать «баржу смерти». Приказав спустить красные флаги, чтоб выдать миноносцы за белогвардейские, Раскольников подошел к Гольянам. Когда «Прыткий» поравнялся с баржей, вахтенный начальник под диктовку командующего прокричал в мегафон:

— Его превосходительство адмирал Старк приказывает вам приготовиться. Сейчас возьмем баржу с арестованными на буксир и отведем в Уфу.

— А как же красные? — послышалось из конвоя.— Ведь они в Сарапуле.

— Сарапул сегодня утром занят нашими доблестными войсками. Красные бежали в Агрыз.

Стоявшему у пристани колесному буксиру было передано:

— По приказанию командующего флотом адмирала Старка возьмите баржу с арестованными и отправляйтесь в Уфу. Мы будем вас охранять...

У сарапульской пристани матросы арестовали белогвардейских тюремщиков и свезли на берег.

Заключенные услышали топот ног и лязг оружия, люк открылся, «и на фоне синего неба,— рассказывал У. И. Манохин,— мы увидели краснофлотца в бушлате и бескозырке с ленточками. Всматриваясь в могильную темноту трюма, он крикнул:

— Живы, товарищи?

Нам спустили лестницу. Оглушенные неожиданной радостью, стали подниматься на палубу. Мы обнимались, целовали своих освободителей...»

Дальше лучше всего предоставить слово Ларисе Рейснер, наблюдавшей происшедшее: «...Через живую стену моряков 432 шатающихся, обросших, бледных сошли на берег. Вереница рогож, колпаков, шапок, скрученных из соломы, придавала какой-то фантастический вид процессии выходцев с того света... Еще приближаясь к берегу, голосами, пролежанными на гнилой соломе, они начали петь «Марсельезу». И пение это не прекращалось до самой площади. Здесь представитель от заключенных приветствовал моряков Волжской флотилии, ее командующего и власть Советов. Раскольникова на руках внесли в столовую, где были приготовлены горячая пища и чай».

«Потом им выдали новую одежду. (Это уже рассказывает Раскольников.— В. П.) Поспешно и радостно они сбрасывали с себя грязные, оборванные рогожи и облекались в человеческое платье. Многие, скинув рогожи, тотчас надели красноармейскую форму и сразу отправились на фронт. 7 ноября 1918 года, в годовщину Великого Октября, после жаркого штурма красными войсками был взят Ижевский завод. В этом штурме принимали участие и освобожденные нами «баржевики». Некоторые из них сложили там свои преданные революции головы за победу и счастье рабочего класса, за Коммунистическую партию».

К 1966 году, когда писал свои воспоминания У. И. Манохин, подвиг моряков Волжско-Камской флотилии не был забыт, как не был забыт и тот, кого спасенные от гибели борцы за власть Советов несли на руках в Сарапуле в октябре 1918 года. И вполне понятно, почему в тех самых Гольянах, где был совершен подвиг, пионерский отряд получил гордое имя Ф. Ф. Раскольникова.

ЧЕРЕЗ ТРИ РЕВОЛЮЦИИ

Раскольникову было ко времени подвига в Гольянах 26 лет (родился в январе 1892 года в Петербурге в семье священнослужителя), а за его спиной уже было столько дел, что их хватило бы не на одну жизнь.

«Еще в 1905—1906 гг. в 5-м и 6-м классах реального училища,— писал он впоследствии в автобиографии,— я дважды принимал участие в забастовках, причем один раз был даже избран в состав ученической делегации и ходил к директору училища с требованием улучшения быта, за что едва не был исключен из училища. Революция 1905 г. впервые пробудила во мне политический интерес и сочувствие к революционному движению, но так как мне было тогда всего 13 лет, то в разногласиях отдельных партий я совершенно не разбирался, а по настроению называл себя вообще социалистом... Политические переживания во время революции 1905 г. и острое сознание социальной несправедливости стихийно влекли меня к социализму. Эти настроения тем более находили во мне горячий сочувственный отклик, что материальные условия жизни нашей семьи были довольно тяжелыми».

Учась с 1908 года в Петербургском политехническом институте, Раскольников серьезно увлекся марксистской литературой, а в 1910 году 19-летний юноша вступает в социал-демократическую партию. Он сотрудничает в большевистской газете «Звезда», а как только начала издаваться «Правда», становится секретарем ее редакции.

Связав свою судьбу с ленинской партией, молодой революционер вступил на путь борьбы против самодержавия, на котором его ожидали суровые испытания. Уже в 1912—1913 годах он узнал, что такое царская тюрьма и ссылка.

В середине марта 1917 года партия направила Федора Раскольникова в Кронштадт редактировать газету «Голос правды». Войдя в руководящее ядро кронштадтской большевистской организации, он снискал огромный авторитет среди матросов, солдат и рабочих. Его избирают товарищем председателя Кронштадтского Совета.

3 апреля Раскольников участвует во встрече на станции Белоостров возвращавшегося из эмиграции В. И. Ленина, сопровождает его по пути в Петроград. Знакомство с Лениным оставило неизгладимый след у Раскольникова. Об этом дне он взволнованно, ярко рассказал впоследствии в своих воспоминаниях. Встреча с

РАСКОЛЬНИКОВ

вождем революции не была лишь эпизодом в биографии Раскольникова. Ему потом не раз приходилось выполнять ответственнейшие поручения Ленина.

В июльской мирной демонстрации в Петрограде Раскольников руководил многотысячной колонной матросов, прибывших из Кронштадта. В те дни Временное правительство готовило разгром особняка Кшесинской, где помещались Центральный и Петербургский комитеты большевистской партии. Военная организация при ЦК поручает Раскольникову охрану центральных учреждений партии, назначив его комендантом здания.

В октябрьские дни он член Петроградского военно-революционного комитета. Ленин советуется с ним, как для защиты революционной столицы от наступавших войск Керенского — Краснова лучше использовать корабли. Раскольников и сам участвует в боях под Пулковом, а затем во главе отряда балтийцев отправляется на помощь восставшему пролетариату Москвы. По возвращении в Петроград он назначается комиссаром Морского генерального штаба. В ноябре 1917 года Советская власть отменила офицерские чины, но состоявшийся вскоре I Всероссийский съезд военного флота в ознаменование заслуг Раскольникова перед революцией своим решением производит его из мичманов в лейтенанты.

Раскольников помогал Ленину создавать Рабоче-Крестьянский Красный Флот. Назначенный на должность заместителя наркома по морским делам, он был в числе руководителей знаменитого Ледового похода — перевода кораблей Балтийского флота из Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт (для спасения их от захвата германскими войсками, начавшими наступление в Прибалтике).

Раскольникову поручил Ленин выполнение трудной задачи — решения правительства о потоплении кораблей Черноморского флота в Новороссийской бухте в июне 1918 года, когда контрреволюционное офицерство намеревалось увести их в Севастополь, где они неизбежно попали бы в руки германских оккупантов. Говоря о выполнении этой задачи 28 июня в речи на конференции профсоюзов и фабзавкомов Москвы, Ленин сообщил: «...Там действовал товарищ Раскольников, которого прекрасно знают московские и питерские рабочие по его агитации, по его партийной работе».

Вскоре он вернулся в Москву и был направлен ЦК партии с чрезвычайными полномочиями в Поволжье, где создавалось угрожающее положение. Насколько велико было доверие ЦК, которым пользовался Раскольников, свидетельствует выданный ему мандат, в котором говорилось, что «он назначается ЦК РКП членом партийно-следственной комиссии, учрежденной для расследования поведения всех членов партии в связи с военными действиями на фронте, и уполномочен отстранять от всякой партийной и советской работы и исключать из партии всех членов партии, деятельность которых окажется несоответственной задачам партии и требованиям момента».

В июле 1918 года Раскольников назначается членом Реввоенсовета главного в то время Восточного фронта, а в августе вступает в командование Волжской (Волжско-Камской) военной флотилией.

2 сентября с образованием Реввоенсовета республики Раскольников был введен в его состав. Успешно закончив боевую кампанию на Волге, он в ноябре 1918 года вернулся в Москву в Народный комиссариат по морским делам, но в декабре во главе отряда особого назначения был послан в разведывательный морской поход под Ревель. Эсминец «Спартак», на борту которого находился Раскольников, близ Ревеля потерпел аварию и был окружен английскими крейсерами. Раскольников вместе с командой оказался в плену. Его доставили в Лондон и около пяти месяцев продержали в Брикстонской тюрьме. В результате энергичных мер, принятых Советским правительством, в мае 1919 года он был освобожден в обмен на 19 английских офицеров, ранее взятых в плен на территории Советской Республики.

По возвращении из Англии Раскольников назначается командующим Астрахано-Каспийской, затем Волжско-Камской флотилией. Под его командованием флотилия совершила в 1919—1920 годах немало славных боевых дел, содействуя успехам наших сухопутных войск под Царицыном, в обороне Астрахани, при занятии форта Александровского, где были захвачены в плен остатки белого уральского казачества, и закончила свой путь знаменитой Энзелийской операцией.

В июне 1920 года Раскольников назначается командующим Балтийским флотом. Во время дискуссии о профсоюзах он короткое время разделял взгляды оппозиции. Преодолев их, в дальнейшем всю жизнь последовательно боролся за ленинскую линию партии.

В 1921—1923 годах Раскольников был полномочным представителем РСФСР в Афганистане. Проявив незаурядные качества дипломата, он много сделал для установления дружественных взаимоотношений между Советской страной и Афганистаном. Первым из советских дипломатов был отмечен орденом иностранного государства. С 1924 года Раскольников — главный редактор журналов «Молодая гвардия», «Красная новь» и издательства «Московский рабочий», председатель Главреперткома, член коллегии Наркомпроса и начальник Главискусства; в 1930—1938 годах — полпред СССР в Эстонии, Дании и Болгарии.

Раскольников был известен как талантливый литератор, автор публицистических работ, книг и пьес. В книге воспоминаний «Кронштадт и Питер в 1917 году» в яркой художественной форме он рассказал о революционных подвигах моряков Балтийского флота в подготовке и вооруженной защите Великого Октября.

КАК ЕГО СДЕЛАЛИ «ВРАГОМ НАРОДА»

В сороковых годах бывший управляющий делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич написал воспоминания «Владимир Ильич Ленин и Военно-Морской Флот». Они не были изданы. Через 20 лет, в 1964 году, извлечения из них опубликовал «Военно-исторический журнал». Вот как рассказывал Бонч-Бруевич о некоторых лично ему известных эпизодах времен революции и гражданской войны:

«Вечером 27 октября (9 ноября) 1917 года Владимир Ильич дает поручение одному из морских офицеров организовать оборону Петрограда судами Балтийского флота».

«Владимир Ильич вызвал к себе находившегося в то время в Кронштадте лично известного ему мичмана военно-морского флота и подробно инструктировал его, что нужно сделать в Новороссийске, требовал от него быть непреклонным, все выполнить от имени правительства. Владимир Ильич вручил ему особое верительное письмо, которое он должен был прочесть командному составу и матросам».

«Командированный офицер морского флота блестяще выполнил возложенное на него правительством и лично Владимиром Ильичем поручение. 18 июня 1918 года Черноморский флот был потоплен в Новороссийске...»

После того, что уже сказано выше, нет нужды особо пояснять, что человек, замаскированный Бонч-Бруевичем под «одного из морских офицеров», был не кто иной, как Раскольников. Автор записок не назвал его впрямую, так как хорошо знал, что начиная с 1938 года упоминать Раскольникова в печати стало чрезвычайно опасно, вернее, невозможно.

В чем же дело? Откуда такой страх перед именем героя, прах которого покоится в Ницце? Ответ на этот вопрос принес 12-й номер журнала «Вопросы истории КПСС» за 1963 год. В. С. Зайцев, который по поручению высших партийных органов участвовал в разборе «дела» Раскольникова, сообщил:

«После XVII съезда он, находясь за границей, с тревогой наблюдает за развитием культа личности Сталина. В результате произвола и беззакония бессмысленно гибли ленинские кадры партии и Советского государства, выдающиеся военачальники, которых Раскольников лично знал по гражданской войне, дипломатические работники, неугодные Сталину. Все это настораживало Раскольникова. Работая в Болгарии, он стал замечать, как подосланные Ежовым, а затем Берия агенты ведут за ним слежку.

В июле 1939 года, находясь во Франции, Раскольников узнает, что на родине он объявлен «врагом народа» и поставлен вне закона.

Тогда, оказавшись в чрезвычайно трудных условиях, Ф. Ф. Раскольников решает начать борьбу с культом личности Сталина. 22 июля он публикует открытое заявление «Как меня сделали «врагом народа», в котором решительно выступает в защиту себя и других невинно пострадавших видных деятелей партии и Советского государства».

На протяжении 1936—1937 годов Наркоминдел неоднократно вызывал его из Софии в Москву якобы для переговоров о новом назначении то в Мексику, то в Чехословакию, то в Грецию, то в Турцию. Чувствуя «явно несерьезный характер» таких предлогов (как иначе было воспринимать их, если, например, с Мексикой у СССР тогда не было даже дипломатических отношений?), Раскольников отказывался от этих предложений, заявляя, что он «удовлетворен своим пребыванием в Болгарии». Наконец, Наркоминдел потребовал его немедленного выезда в Москву, обещая неопределенное «более ответственное» назначение.

«1 апреля 1938 года,— писал потом Раскольников в открытом заявлении,— я выехал из Софии в Москву, о чем в тот же день уведомил по телефону Наркоминдел... Вся советская колония в Болгарии провожала меня на вокзале». Но в Москву Раскольников не приехал. Случилось неожиданное. В том же заявлении он рассказал об этом так: «5 апреля 1938 года, когда я еще не успел доехать до советской границы, в Москве потеряли терпение и во время моего пребывания в пути скандально уволили меня с поста полпреда СССР в Болгарии, о чем я, к своему удивлению, узнал из иностранных газет. При этом даже не был соблюден минимум приличия: меня даже не назвали товарищем. Я — человек политически грамотный и понимаю, что это значит, когда кого-либо снимают в пожарном порядке и сообщают об этом по радио на весь мир.

После этого мне стало ясно, что по переезде границы я буду немедленно арестован.

Мне стало ясно, что я, как многие старые большевики, оказался без вины виноватым. А все предложения ответственных постов от Мексики до Анкары были западней, средством заманить меня в Москву.

Такими бесчестными способами, недостойными государства, заманили многих полпредов. Л. М. Карахану усиленно предлагалась должность посла в Вашингтон, а когда он приехал в Москву, то его арестовали и расстреляли.

В. А. Антонов-Овсеенко был вызван из Испании под предлогом его назначения наркомом юстиции РСФСР. Для придания этому назначению большей убедительности постановление о нем было даже распубликовано в «Известиях» и «Правде». Едва ли кто-либо из читателей газет подозревал, что эти строки напечатаны специально для одного Антонова-Овсеенко.

Поездка в Москву после постановления 5 апреля 1938 года, уволившего меня со службы как преступника, виновность которого доказана и не вызывает сомнений, была бы чистым безумием, равносильным самоубийству.

Над порталом собора Парижской Богоматери, среди других скульптурных изображений, возвышается статуя святого Дениса, который смиренно несет собственную голову. Но я предпочитаю жить на хлебе и воде на свободе, чем безвинно томиться и погибнуть в тюрьме, не имея возможности оправдаться в возводимых чудовищных обвинениях».

Оставаясь за границей, Раскольников, «несмотря на неслыханно возмутительное увольнение с поста», проявлял выдержку и лояльность по отношению к Советскому правительству. 12 октября 1938 года он был вызван в полпредство СССР во Франции, где посол Я. З. Суриц, сообщив, что у Советского правительства, «кроме самовольного пребывания за границей, никаких политических претензий» к нему нет, предложил Раскольникову ехать в Москву, гарантируя, что по приезде ему «ничего не угрожает». Но Раскольников хорошо знал, что одно только «самовольное пребывание за границей», независимо от того, чем оно вызвано, расценивалось тогда как измена Родине с вытекающими отсюда последствиями.

18 октября он послал письмо Сталину, в котором заявил, что не признает обоснованным это единственное тогда обвинение, что его временное пребывание за границей «является не самовольным, а вынужденным». «Я никогда не отказывался вернуться в СССР»,— писал Раскольников.

О том, что произошло потом, мы узнаем из цитированного выше заявления «Как меня сделали «врагом народа»:

«С тех пор никаких новых требований о возвращении мне предъявлено не было.

Мое обращение в парижское полпредство с просьбой о продлении паспорта осталось без ответа.

Сейчас (это писалось 22 июля 1939 г.— В. П.) я узнал из газет о состоявшейся 17 июля комедии заочного суда. Принудив уехать из Софии, меня объявили «дезертиром»; по про-

изволу уволив со службы, объявили, что я отказался вернуться в СССР, игнорируя мое документальное заявление Сталину, что я никогда не отказывался и не отказываюсь вернуться в СССР.

Мою лояльность объявили «переходом в лагерь врагов народа».

Это постановление лишний раз бросает свет на сталинскую юстицию, на инсценировку пресловутых процессов, наглядно показывая, как фабрикуются бесчисленные «враги народа» и какие основания достаточны Верховному суду, чтобы приговорить к высшей мере наказания».

Раскольников заканчивал это заявление с полным сознанием достоинства коммуниста-ленинца и гражданина Страны Советов:

«Объявление меня вне закона продиктовано слепой яростью на человека, который отказался безропотно сложить голову на плахе и осмелился защищать свою жизнь, свободу и честь.

Я протестую против такого издевательства над правосудием и требую гласного пересмотра дела с предоставлением мне возможности защищаться».

Возможности защищаться в суде он не получил.

В конце августа 1939 года, находясь в Ницце (юг Франции), Ф. Ф. Раскольников заболел воспалением легких и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Вскоре у больного возник также и менингит, которого он не перенес и 12 сентября скончался. Прах его покоится в фамильном склепе одной из французских семей в городе Ницце.

Целых четверть века на славном имени революционера, дипломата, литератора, политического деятеля ленинской школы висело проклятие клеветы. Ее трудно было бы рассеять, если бы не собственные свидетельства Раскольникова в виде заявления «Как меня сделали «врагом народа»» и последнего открытого письма Сталину. В письме, написанном незадолго до смерти, Раскольников, самозабвенно веривший в моральные силы своего народа, высказал надежду, что недалеко то время, когда режим произвола и беззакония, насажденный Сталиным, будет разоблачен и восторжествует справедливость, за которую отдали жизни поколения революционеров. Такое время пришло. Оно ознаменовано в жизни Советской страны XX и XXII съездами партии. 10 июля 1963 года решением пленума Верховного суда постановление 1939 года по «делу» Раскольникова было отменено «за отсутствием в его действиях состава преступления», и он был восстановлен в рядах Коммунистической партии, служению которой отдал 30 лет своей сознательной жизни.

ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ

После четвертьвекового замалчивания и поношения имени Раскольникова мы узнали, что все это основывалось на злостных вымыслах. «Вопросы истории КПСС» черным по белому утверждали, что слава героя Октября и гражданской войны осталась незапятнанной, что до конца своих дней Раскольников «оставался большевиком, ленинцем, гражданином Советского Союза. Находясь в изгнании, он ничем себя не скомпрометировал». Тогда же, в декабре 1963 года, мы узнали и об открытом письме Раскольникова Сталину от 17 августа 1939 года. Из него стало ясно, что в партии и в годы культа личности Сталина были здоровые силы, которые не мирились с произволом и отступничеством от ленинских норм общественной жизни, возведенными в ранг правительственной политики. Особую тревогу Ф. Ф. Раскольникова вызывало истребление опытных командных кадров армии и флота. Он предупреждал, что это ведет к ослаблению Советских Вооруженных Сил и чревато серьезными последствиями в случае войны с фашизмом, а столкновение с гитлеровской Германией он считал неизбежным.

Обращаясь к Сталину, Раскольников заявил во всеуслышание:

«С помощью грязных подлогов Вы инсценировали судебные процессы, превосходящие вздорностью обвинения знакомые Вам по семинарским учебникам средневековые процессы ведьм.

Вы заставили идущих с Вами с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей. В лживой истории партии, написанной под Вашим руководством, Вы обокрали мертвых, убитых и опозоренных Вами людей и присвоили себе их подвиги и заслуги».

Мы только сейчас, осмысливая процесс перестройки общественной жизни, обнаруживаем застой и догматизм в гуманитарных науках, в искусстве. Письмо Раскольникова позволяет проследить эволюцию этих явлений, вскрыть их истоки, привлекает внимание к факторам, определяющим их живучесть, без выявления которых невозможно их выкорчевывание. Характерным для Раскольникова — и в этом урок, который дает нам большевик ленинского поколения,— было беспощадное обнажение образовавшегося зла, без скидок на те «объективные» причины, которые часто преднамеренно используются для его оправдания.

«Лицемерно провозглашая интеллигенцию «солью земли»,— писал Раскольников,— Вы лишили минимума внутренней свободы труд писателя, ученого, живописца. Вы зажали искусство в тиски, от которых оно задыхается и вымирает. Неистовства запуганной Вами цензуры и понятная робость редакторов, за все отвечающих своей головой, привели к окостенению и параличу советской литературы. Писатель не может печататься, драматург не может ставить пьесы на сцене театра, критик не может высказать свое личное мнение, не отмеченное казенным штампом. Вы душите советское искусство, требуя от него придворного лизоблюдства, но оно предпочитает молчать, чтобы не петь Вам «осанну». Вы насаждаете псевдоискусство, которое с надоедливым однообразием воспевает Вашу пресловутую, набившую оскомину «гениальность». Бездарные графоманы славословят Вас, как полубога, рожденного от Луны и Солнца, а Вы, как восточный деспот, наслаждаетесь фимиамом грубой лести. Вы беспощадно истребляете талантливых, но лично Вам неугодных писателей. Где Борис Пильняк? Где Сергей Третьяков? Где А. Аросев? Где Михаил Кольцов? Где Галина Серебрякова, виновная в том, что она была женой Сокольникова? Вы арестовали их, Сталин!»

Только недавно в нашей печати стало «новостью» то, что в ненастные годы сталинского самоуправства отбывали заключение по вздорным обвинениям С. П. Королев, Д. С. Лихачев и другие деятели культуры, науки и техники. И поэтому впрямь сенсацией звучат разоблачения, сделанные Раскольниковым в те времена, когда все это творилось.

«Вы лишили советских ученых,— писал он автору лозунга «Кадры решают все»,— особенно в области гуманитарных наук, минимума свободы научной мысли, без которой творческая работа становится невозможной. Самоуверенные невежды интригами, склоками и травлей не дают работать ученым в университетах и институтах, лабораториях. Выдающихся русских ученых с мировым именем академика Ипатьева и Чичибабина Вы на весь мир провозгласили «невозвращенцами», наивно думая их обесславить, но опозорили только себя, доведя до сведения всей страны и мирового общественного мнения постыдный для Вашего режима факт, что лучшие ученые бегут из Вашего «рая», оставляя Вам Ваши «благодеяния»: квартиру, автомобиль, карточку на обеды в совнаркомовской столовой. Вы истребили талантливых русских ученых. Где лучший конструктор советских аэропланов Туполев? Вы не пощадили даже его. Вы арестовали Туполева, Сталин! Нет области, нет уголка, где можно спокойно заниматься любимым делом. Директор театра, замечательный режиссер, выдающийся деятель искусства Вс. Мейерхольд не занимался политикой. Но Вы арестовали и Мейерхольда, Сталин!»

Вспомним, открытое письмо Сталину Раскольников написал 17 августа 1939 года, за две недели до нападения фашистской Германии на Польшу, которым началась вторая мировая война. В это время Сталин пребывал в плену иллюзий о возможности предотвращения военного конфликта с Германией, от которых он так и не освободился ни в 1939, ни в 1940 и 1941 годах.

Раскольников бил тревогу. Уже тогда он расценивал обстановку как «грозный час военной опасности, когда острие фашизма направлено против Советского Союза». В военных действиях, которые уже вели Германия и Япония в Западной Европе и Китае, он видел «лишь подготовку плацдарма для будущей интервенции против СССР», считая, что «главный объект германо-японской агрессии — наша Родина». Перед лицом нараставшей угрозы с особой остротой Раскольников воспринимал подрыв Сталиным обороноспособности страны путем истребления наиболее ценных кадров.

«Зная, что при нашей бедности кадрами особенно ценен каждый опытный и культурный дипломат,— писал он Сталину,— Вы заманили в Москву и уничтожили одного за другим почти всех советских полпредов. Вы разрушили дотла весь аппарат Народного комиссариата иностранных дел».

Не меньшую боль вызывало у него положение в армии и на флоте:

«Накануне войны Вы разрушаете Красную Армию, любовь и гордость страны, оплот ее мощи. Вы обезглавили Красную Армию и Красный Флот. Вы убили самых талантливых полководцев, воспитанных на опыте мировой и гражданской войны, которые преобразовали Красную Армию по последнему слову техники и сделали ее непобедимой. В момент величайшей военной опасности Вы продолжаете истреблять руководителей армии, средний командный состав и младших командиров. Где маршал Блюхер? Где маршал Егоров? Вы арестовали их, Сталин. Для успокоения взволнованных умов Вы обманываете страну, что ослабленная арестами и казнями Красная Армия стала еще сильнее. Зная, что закон военной науки требует единоначалия в армии от главнокомандующего до взводного командира, Вы воскресили институт политических комиссаров, который возник на заре Красной Армии, когда у нас еще не было своих командиров, а над военными специалистами старой армии нужен был политический контроль. Не доверяя красным командирам, Вы вносите в армию двоевластие и разрушаете воинскую дисциплину. Под нажимом советского народа Вы лицемерно воскрешаете культ исторических русских героев: Александра Невского, Дмитрия Донского и Кутузова, надеясь, что в будущей войне они помогут Вам больше, чем казненные маршалы и генералы. Пользуясь тем, что Вы никому не доверяете, настоящие агенты гестапо и японская разведка с успехом ловят рыбу в мутной, взбаламученной Вами воде, в изобилии подбрасывают Вам подложные документы, порочащие самых лучших, талантливых и честных людей. В созданной Вами гнилой атмосфере подозрительности, взаимного недоверия, всеобщего сыска и всемогущества Народного комиссариата внутренних дел, которому Вы отдали на растерзание Красную Армию и всю страну, любому «перехваченному» документу верят или притворяются, что верят, как неоспоримому доказательству...»

Этому письму Раскольников предпослал эпиграф — две строчки из «Горя от ума»: «Я правду об тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи». Может возникнуть вопрос: не сгущает ли он краски для оправдания этого обещания? Но вот перед нами подсчеты, сделанные генерал-лейтенантом А. И. Тодорским: сталинские репрессии вырубили из пяти маршалов трех (А. И. Егоров, М. Н. Тухачевский, В. К. Блюхер); из пяти командармов 1-го ранга — трех; из 10 командармов 2-го ранга — всех, из 57 комкоров — 50; из 186 комдивов — 154; из 16 армейских комиссаров 1-го и 2-го ранга — всех, из 28 корпусных комиссаров — 25; из 64 дивизионных комиссаров — 58, из 456 полковников — 401.

Заканчивая письмо, Раскольников писал:

«Ваша безумная вакханалия не может продолжаться долго. Бесконечен список Ваших преступлений. Бесконечен список Ваших жертв, нет возможности их перечислить. Рано или поздно советский народ посадит Вас на скамью подсудимых как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и судебных подлогов».

Эта надежда выдающегося деятеля партии и Советского государства, революционера-ленинца сбылась. Партия осудила культ личности Сталина, сделав достоянием гласности факты его злоупотреблений властью. Осталось глубоко исследовать причины и условия возникновения культа, исторический опыт борьбы против него. Письма Раскольникова служат ценным источником для такого исследования: они показывают, что в рядах партии большевиков выросли под ленинским руководством несгибаемые борцы, навсегда сохранившие верность знамени марксизма и способные в чрезвычайных ситуациях отстаивать честь партии и чистоту идеалов социализма. Письма доносят до нас из полувековой давности голос мужественного большевика-ленинца.

Раскольникову трудно было решиться на открытое осуждение сталинизма, о чем он признался в письме от 17 августа 1939 года. Тем не менее он нашел душевные силы, чтобы превозмочь боль и опасность и сказать правду, о которой мало кто решался говорить.

Не у всех достало гражданского мужества перестать молчать не только тогда, но даже и после того, как культ Сталина был осужден партией. Благодушная характеристика Сталина возводилась иными деятелями от науки в новую незыблемую догму: несмотря на нанесенный культом личности ущерб делу социалистического строительства «в отдельных сферах жизни общества», ни сам он, ни его последствия «ни в коей мере не вытекали из природы социалистического строя, не изменили и не могли изменить его характера». А уж отсюда выводилось поучение о том, что «нельзя признать ни теоретически, ни фактически правильным, когда в некоторых наших научных или художественных публикациях жизнь изображается только под углом зрения явлений культа личности и тем самым заслоняется героическая борьба советских людей, построивших социализм», как настаивал в октябре 1965 года С. П. Трапезников. Приспособленческая же «научная» мысль угодливо развивала эту идею в январе

1966 года: к сожалению-де, в развенчании партией и народом «этого глубоко чуждого марксизму явления» сказались «чуждые марксизму субъективистские влияния, нашедшие отражение также в некоторых трудах историков. Получил распространение ошибочный немарксистский термин «период культа личности»».

Анализ этого действительно глубоко чуждого марксизму явления, сделанный Раскольниковым, конечно, принципиально расходился с такого рода «идейными» установками. Насаждение их, сдерживание критики чуждых марксизму явлений как раз и объясняет нынешний застой в общественных науках. Бюрократическая «элита» в науке и пропаганде опиралась, разумеется, на официальные документы партии. Но вполне оправданно возникает вопрос: «Можно ли в современных условиях признать достаточным и исчерпывающим постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий»? Не кажется ли нам, что оно не вскрыло всей сущности этого явления? И не слишком ли поспешно мы объявили его преодоленным?» («Коммунист», 1987, № 7, с. 120).

ПОСЛЕСЛОВИЕ К РЕАБИЛИТАЦИИ

Все те, кто знал Раскольникова по совместной революционной, партийной и государственной работе, историческим документам и литературе, с удовлетворением восприняли решение высших государственных и партийных органов о его реабилитации как советского гражданина и коммуниста. В виде сборника «На боевых постах» Воениздат переиздал его воспоминания «Кронштадт и Питер в 1917 году» и «Рассказы мичмана Ильина». Пионерский отряд в Гольянах получил имя Раскольникова. Приглашенная в СССР его вдова М. В. Раскольникова и дочь были радушно приняты в правлении Союза советских писателей, Военным советом Военно-Морского Флота, редакциями «Военно-исторического журнала» и «Огонька», моряками Балтики. Было решено перевезти прах героя на Родину и перезахоронить в Кронштадте. Окончившая Сорбонну дочь Раскольникова была принята на стажировку в Московский университет.

Но атмосфера всеобщего преклонения перед яркой фигурой возвращенного в строй героев Октября Ф. Ф. Раскольникова оказалась вдруг отравленной выступлением С. П. Трапезникова на совещании заведующих кафедрами общественных наук московских вузов 5 сентября 1965 года. Говоря о «субъективистском налете» в оценках отдельных личностей, которые в преобразовательных процессах «подчас стояли на противоположных позициях», он сказал о Раскольникове:

«В идейном отношении он был всегда активным троцкистом. Будучи полномочным представителем Советской страны, он отказался вернуться на Родину, совершил тяжкий поступок, а именно предательство. Письмо, в котором он мотивировал отказ вернуться в СССР, он отправил в один из самых грязных органов белогвардейцев — в парижский журнал «Новая Россия», издаваемый перед войной под редакцией небезызвестного вам Керенского и сотрудничавшего с ним Милюкова, где это письмо было использовано широко в антисоветских целях накануне войны. Сбратавшись с белогвардейцами, фашистской мразью, этот отщепенец стал оплевывать все, что было добыто и утверждено потом и кровью советских людей, очернять великое знамя ленинизма и восхвалять троцкизм. Только безответственные люди могли дезертирство Раскольникова, его бегство из Советского Союза расценивать как подвиг».

Повторная расправа с Раскольниковым, теперь уже предпринятая посмертно, должна была послужить предметным уроком и назиданием всем тем, кто еще жил идеями совершившейся после XX съезда перестройки, и сигналом для активизации тех, кого съезд «смертельно напугал» и в чьих интересах был, по словам профессора А. П. Бутенко в «Московской правде», «остановить процесс очищения общества от бюрократизма и других негативных явлений».

Какова же на самом деле была цена «обличений», выдвинутых Трапезниковым? Нужно прямо сказать, что они были рассчитаны на неосведомленность слушателей. Неверна прежде всего фактическая основа обвинения. Трапезников заявил, будто письмо Раскольникова было напечатано в журнале «Новая Россия». Но письмо, о котором он ведет речь, было напечатано не в «Новой России», а в «Последних новостях», Керенский и Милюков не сотрудничали в одном органе, а имели разные издания: Керенский издавал «Новую Россию», а Милюков — «Последние новости». Это, конечно, мелочь, но такой борец против «трубадуров буржуазной идеологии» и «апологетов буржуазии», каким старался зарекомендовать себя Трапезников, должен был эти «мелочи» знать. А далее видно, что он смешивает воедино заявление и письмо Раскольникова, напечатанные в разных органах, и не знает обстоятельств их опубликования.

Раскольников не посылал письма в какую-нибудь газету, а по существующему во Франции порядку сдал в агентство «Гавас», которое предоставляло информацию всем газетам на общих основаниях, так что опубликование их в «Новой России» и «Последних новостях» зависело не от выбора Раскольникова. Не зная всего этого и исходя только из факта, что письма были напечатаны в этих газетах, Трапезников облыжно приписал Раскольникову прямую связь с белогвардейцами и, очевидно, для усиления эмоций договорился до его связи с «фашистской мразью». Увлекшись своими фантастическими обвинениями, он счел возможным наградить старого коммуниста, соратника Ленина позорной кличкой «отщепенец».

Был ли Раскольников «всегда активным троцкистом», как уверял Трапезников? Сам Раскольников в письме Сталину от 17 августа 1939 года писал:

«Как Вам известно, я никогда не был троцкистом. Я идейно боролся со всеми оппозициями в печати и на широких собраниях. Я и сейчас не согласен с политической позицией Троцкого, с его программой и тактикой».

Может быть, Раскольников писал неправду и на это его заявление нельзя полагаться? Но вот свидетельство, скрепленное подписью Сталина,— справка, помещенная в 1-м томе «Истории гражданской войны в СССР», который вышел в 1935 и 1936 годах под редакцией Сталина (а также С. М. Кирова, А. А. Жданова и других):

«Раскольников Ф. Ф. (р. 1892) — большевик, член партии с 1910 г. В период войны — офицер морского флота. После Февральской революции заместитель председателя Кронштадтского Совета, руководитель большевистской организации в Кронштадте. После Октябрьской революции руководитель Каспийского флота, очистившего Каспийское море от белогвардейцев и англичан. В настоящее время — полпред СССР в Болгарии».

Здесь ни звука нет о каком-либо троцкизме Раскольникова, хотя в справках о других лицах в том же именном указателе обязательно отмечалось их участие в оппозициях. Раскольников являлся и одним из составителей этого тома, вышедшего под редакцией Сталина.

Говоря об этом, мы не обходим того, что во время дискуссии о профсоюзах, будучи командующим Балтийским флотом, он разделял взгляды оппозиции, однако быстро порвал с ними. Но этот факт не может служить хоть в какой-то мере оправданием для диаметрально противоположной оценки Раскольникова, ибо Ленин учил партию не бичевать коммунистов за исправленные ошибки. «Перед самой Октябрьской революцией в России и вскоре после нее,— писал он,— ряд превосходных коммунистов в России сделали ошибку, о которой у нас неохотно теперь вспоминают. Почему неохотно? Потому, что без особой надобности неправильно вспоминать такие ошибки, которые вполне исправлены». Точно так же, по-видимому, как не было надобности вспоминать ошибки Ф. Э. Дзержинского, М. В. Фрунзе, допущенные в период борьбы Ленина за Брестский мир. Наконец, с бо́льшим основанием Трапезников мог приписать «троцкизм» Сталину, который 6 ноября 1918 года признал за Троцким «всю работу по организации (Октябрьского) восстания», утверждая, что «быстрым переходом гарнизона на сторону Совета и умелой постановкой работы Военно-Революционного Комитета партия обязана прежде всего и главным образом тов. Троцкому».

Другое обвинение Раскольникова — в «дезертирстве», «бегстве из Советского Союза» — имеет под собой у Трапезникова не больше оснований, чем предыдущие: эти обвинения были предъявлены ему в 1939 году, но отметены нашими высшими партийными и государственными органами при пересмотре «дела» Раскольникова и его реабилитации.

Что касается использования письма Раскольникова врагами, то они всегда манипулируют в своих целях документами, вскрывающими наши больные места. Точно так же они распространяли материалы партийных съездов, многие материалы печати, разоблачающие культ личности; их перепечатывали и по-своему комментировали не менее одиозные органы, чем газеты Керенского и Милюкова. Но никому в голову сегодня не приходит из факта перепечатки делать вывод о том, что авторы этих материалов «сбратались» с белогвардейцами и фашистами.

Ленин был совсем иного мнения в подобных случаях: «Мы не раз говорили, что все силы Советской власти покоятся на доверии и сознательном отношении рабочих... Мы нисколько не закрывали глаза на то, что всякое слово, которое будет здесь произнесено, будет перетолковываться, что к нашим признаниям будут прислушиваться агенты белогвардейцев,— но мы говорим: пусть! Мы гораздо больше пользы извлечем из прямой и открытой правды, потому что мы уверены, что если это и тяжелая правда, то, когда она ясно слышна, всякий сознательный представитель рабочего класса, всякий трудящийся крестьянин извлечет из нее единственный верный вывод».

* * *

20 лет, начиная с 1965 года, на имени Раскольникова снова висела клевета. Его имя вычеркивалось из текстов научных исследований и литературных произведений. Какой мерой измерить тот урон, который был нанесен всем этим воспитанию советских людей на революционных традициях?

Чем ближе мы подходим к славному 70-летию Великого Октября, тем с большим душевным подъемом воспринимается призыв Центрального Комитета нашей партии: «В благодарной памяти советских людей вечно будут жить революционеры-ленинцы, сподвижники Ильича, которые заложили героические традиции большевизма и сквозь все невзгоды и испытания пронесли непоколебимую верность коммунистическим идеалам». Не померкнет среди этих подвижников коммунизма и имя героя революции Федора Федоровича Раскольникова.

НА ВЕТРУ ЖИЗНИ И ВЕЧНОСТИ

После публикации «Судьба моя сгорела между строк. Десять вечеров у Арсения Тарковского» прошло почти полгода. А письма читателей на эту публикацию все идут и идут. Многих взволновала судьба прекрасного поэта наших дней, подробности его интересной жизненной и творческой биографии. Читатель из г. Мценска Е. Соколов спрашивает, когда будет издано собрание сочинений поэта. Вопрос вполне резонный. Почему бы Госкомиздату СССР не предложить старейшему советскому поэту, автору не одного «Избранного», трехтомное собрание сочинений? Могу даже рекомендовать составить его таким образом: первый том — оригинальные стихи, второй — свободное переложение каракалпанского эпоса «Сорок девушек» и третий том — переводы. Кстати, в последнее уже время в периодике появилась и проза Тарковского, тонкая, изящная, лиричная. «Рассказы написаны давно,— сказал Арсений Александрович.— Лежали в архиве». Неплохой, кстати, намек иным литераторам, жаждущим обнародовать свои свежеиспеченные сочинения.

В архиве Тарковского нет слабых стихов. Написанные в далекие годы, в пору молодости, творческого становления, они кажутся сотворенными сразу рукой мастера. Об этом говорят стихотворные публикации последнего времени. Еще один урок: настоящее не пропадает. Рано или поздно оно выходит к людям.

Меня интересовало начало творческого пути поэта, его первые публикации. Когда я спросил его о них, он ответил как-то расплывчато: кажется, у Дейча в «Прожекторе», году в двадцать пятом. А в предисловии к тому «Избранного» называется 1929 год. Можно предположить, что истина где-то посередине.

У меня в руках тонюсенькая книжечка «Две зари», изданная под редакцией И. Новикова в издательстве «Никитинские субботники» в 1927 году. Тираж ее тысяча экземпляров. С 1925 по 1929 год Арсений Александрович учился на Высших литературных курсах в Москве, которые и предприняли это издание в помощь, как сказано, нуждающимся студентам. Среди преподавателей курсов названы имена Л. Гроссмана, С. Соболевского, С. Соловьева, Н. Захарова-Мэнского, А. Сидорова, И. Рукавишникова, среди студентов имена М. Петровых, Ю. Нейман, Виктора Гусева. В предисловии говорится: «...довольно много имен увидят себя, вероятно, в этой книжечке впервые; судьбу их угадывать мы не беремся».

Молодой Арсений Тарковский поместил в книжечке стихотворение «Свеча», в нем всего четыре строки:

Мерцая желтым язычком,
Свеча все больше оплывает.
Вот так и мы с тобой живем:
Душа горит и тело тает.

1926 г.

Таким образом, перед нами не вошедшее ни в одну из книжек поэта и выпавшее из поля зрения исследователей стихотворение.

Журнал «Огонек» поздравляет А. А. Тарковского с 80-летием. Пусть талант и душа его вдохновенно горят на ветру жизни и вечности.

Феликс МЕДВЕДЕВ

ПАЛИТРА

МОНОЛОГ О МАТЕРИ

...ЭТО БЫЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЛЯ НЕЕ ДЕНЬ. В НЕИМОВЕРНОЙ ДАВКЕ ВЕРНИСАЖА, СРЕДИ ГУЛА ТОЛПЫ И РАЗНОГОЛОСИЦЫ РЕЧЕЙ ЕЕ СЛОВА ПРОЗВУЧАЛИ ОСОБЕННО ЗВОНКО И СВЕТЛО. ТАТЬЯНА БОРИСОВНА СЕРЕБРЯКОВА ВМЕСТЕ С БРАТОМ ЕВГЕНИЕМ БОРИСОВИЧЕМ ПРИГЛАСИЛИ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЖИВОПИСИ ВОЙТИ В МИР ТВОРЕНИЙ ИХ МАТЕРИ

Прекрасной и молодой сохранили автопортреты облик художницы. Словно до сих пор живет среди нас она, сверстница, счастливая мать четверых детей. Кажется, не было в ее жизни «парижского периода», начавшегося с поездки на заработки в 1924 году и так трагически затянувшегося. И не она писала дочери: «Хотелось бы быть с вами на берегу речки Москвы и погулять в Коломенском... Конечно, это была моя непростительная опрометчивость тянуть здесь лямку непризнанной и никому не нужной художницы...»

Экспозиция посвящалась 100-летию со дня рождения Зинаиды Серебряковой. Чувствуя праздничность, светлую радость той, которая на многих серебряковских портретах изображена девочкой, Татой, тянулись к ней люди — за автографами и просто со словами благодарности. Невысокая, подвижная, очень похожая на мать темными, умеющими вдруг воссиять глазами, она была удивительно молода, несмотря на семь с половиной десятков лет.

А я вспомнила, как две недели назад мы разговаривали с Татьяной Борисовной в ее квартире.

— Многие картины почти семьдесят лет ждали встречи со зрителями. И ждали не где-нибудь за рубежом, а здесь, на родной земле. Мама мечтала быть понятой своими соотечественниками.

Смотрю на автопортрет Зинаиды Евгеньевны с кистью (1924 год) и ловлю себя на мысли, что эту хрупкую молодую женщину, усталую, с неизбывной грустью в глазах, просто невозможно представить уже пожилой, познавшей множество испытаний и тягот, которые она словно предчувствует на этом полотне. Такой, какой увидела ее дочь, приехав в Париж после 36 лет разлуки.

— С первых лет жизни мы, дети, а нас четверо — Женя, Шура, Катя и я,— видели маму с альбомом, кистью или карандашом, сидящей где-нибудь в уголке. Это было для нас так естественно: мы играем, едим, гуляем, а мама рисует. Даже когда в 1964 году мы вновь встретились в скромной парижской квартире, первое же утро началось с того, что, подойдя к двери мастерской, мама чуть виновато сказала: «Извините, дети, я должна работать. Не могу иначе». Она ненавидела праздность и свято верила, что только повседневный труд делает жизнь художника в любых обстоятельствах осмысленной. В последние дни, уже 82-летней, она продолжала писать. Прощаясь со мной (я приезжала к ней еще в 1967 году, через два месяца она умерла), мама передала мне последний написанный ею мой портрет.

Взлет ее был стремителен. На выставке «Союза русских художников» в 1910 году картина «За туалетом. Автопортрет» поразила всех чистотой, одухотворенностью и смелой зрелостью мастерства. Удивительное обаяние образа художницы завораживало, как первые звуки светлой и ясной мелодии. «Зинаида Серебрякова неожиданно для всех предстала уже готовой художницей, она оказалась одного с нами лагеря, одних направлений и вкуса, и ее причисление к группе «Мир искусства» произошло само собой»,— писал впоследствии А. Н. Бенуа.

— Известно, что несколько картин мамы купил тогда совет Третьяковской галереи, имя ее стало популярным. Мы привыкли говорить «талант», «вдохновение». Все это верно. Но есть еще то, что называется семейные традиции. Зинаида Евгеньевна — дочь известного скульптора-анималиста Е. А. Лансере, а по матери внучка архитектора Н. Л. Бенуа. Росла она вместе с сестрами и братьями Евгением и Николаем и дядей. Все они стали художниками. Большая семья жила в квартире деда на улице Глинки в Петербурге. На стенах висели картины и гравюры французских и итальянских мастеров, библиотека была полна книгами по искусству, альбомами с репродукциями. Постоянно приходили люди, связанные с современной художественной жизнью.

Так исподволь познавалась история искусства, формировался вкус, расширялся кругозор. А походы в музеи Петербурга, где можно было наслаждаться полотнами Рембрандта, Рубенса, ван Дейка, Тициана, Рафаэля, Леонардо да Винчи... Мама обожала эти картины. Перед творениями Рубенса она специально роняла платок, чтобы можно было встать на колени, отдавая дань поклонения великому мастеру.

Семья Лансере летом часто жила в своем имении неподалеку от Харькова — Нескучном. Это малая родина Зинаиды Евгеньевны. Здесь она родилась. Душа так и осталась в этом прекрасном уголке. Аллеи серебристых тополей, тропинки, сбегавшие к полям, речка ее детства Муромка, сады, расцветавшие по весне... Все это запечатлено на этюдах, рисунках. Картины деревенского быта стали первыми сюжетами работ художницы.

Серебрякова любила писать пейзажи в разное время года. Скромные сельские виды ее кисть облекала поэзией, подчеркивала красоту обыденного, запечатлевала не быт, но бытие («Перед грозой», «Скотный двор в селе Нескучном», «Телятник», «Яблони в цвету», «Фруктовый сад»).

— По-своему проходила школу мастерства моя мать. Ни дня отдыха. Так было всегда. Училась она и во время своего посещения Италии в 1902—1903 годах. Этюды и наброски были поиском особой техники живописи, столь необходимой ей. Она писала темперой. Поскольку рисовать приходилось часто урывками, ей необходимо было уловить дыхание жизни, трепет и достоверность натуры, передать колорит. Темпера давала такие возможности больше, чем акварель. Учиться живописи долго и последовательно ей не пришлось. Всего месяц пробыла она в училище М. Тенишевой, где преподавал И. Репин.

В Нескучном с детства жил со своей матерью двоюродный брат Зинаиды Борис — будущий инженер-путеец. Немного диковатая, трудно сходящаяся с людьми, молодая художница нашла в нем единомышленника. Он разделял ее взгляды на искусство, интересовался тем, что происходило в среде близких ей людей. В 1905 году они поженились и уехали в свадебное путешествие в Париж. Музеи, выставки, зарисовки, этюды — постоянная работа над собой не прекращалась для Зинаиды Евгеньевны даже в эту, самую романтичную пору жизни.

— Отец не только понимал маму, ценил ее талант, он помогал ей в работе, как мог. Сохранились холсты, помеченные ее рукой: «Грунтовка Бориса Серебрякова». Как путеец, он много ездил на изыскания. Нас, детей, маме помогала растить бабушка, Е. Н. Лансере, раньше всех угадавшая в своей младшей дочери талант художника. Она сохранила альбомы с детскими рисунками Зины. Как отчетливо проявился уже в таком раннем возрасте, 11—13 лет, характер будущей художницы! Наброски, остроумные сценки из домашней жизни, рисунки, сделанные в гимназии, часто подписанные ею самой «худо» или «очень худо». Очень уж требовательной была она к себе и такой осталась на всю жизнь.

«Катюша и я нелюдимы и чувствуем себя лучше одни, чем с чуждыми во всем французами. Катюша чудно рисует все в том же маленьком размере, и мне ужасно не хочется теперь делать рядом с ней свои ненужные и грубые вещи...» (Из письма из Бретани, август 1934 года).

«Ходим второй день по утрам рисовать в Музей Лувра — рисуем скульптуры XVII века — это полезная практика — все думаю наверстать свою безграмотность рисунка» (Париж, 1934 год).

— Вот я говорю «нелюдимка», и мама сама подтверждала это, а ведь людей-то она как раз очень любила. Разве можно писать портреты, если чувствуешь неприязнь к модели? Както я спросила ее, почему она изображает людей такими красивыми, одухотворенными. «Искусство,— сказала она,— это обязательно поиск прекрасного. Зачем же я буду показывать в человеке что-то уродливое, злое? Мне гораздо интереснее то доброе и красивое, что в нем заложено...»

И тут я задаю Татьяне Борисовне вопрос, который часто возникает у зрителей. Почему у Зинаиды Евгеньевны так много автопортретов?

— Здесь нет загадки. Натура была основой ее искусства. Все свои картины она всегда писала с натуры. Иначе не могла. Даже такие многофигурные композиции, как «Баня», «Беление холста», рождены конкретными жизненными впечатлениями. Сколько набросков, зарисовок предшествовало их появлению! Но когда не было под рукой модели, желавшей ей позировать, писала себя. Без лимита времени, жалоб на усталость. «Самая терпеливая натура»,— шутила она. Часто, начав работать над каким-нибудь сюжетом, мама выверяла точность поз, ракурса на себе, вглядываясь в зеркало.

Гражданская война застала Зинаиду Евгеньевну с детьми в Нескучном. Муж был на изысканиях в Сибири, и перевезти семью в Петроград было некому. Друзья помогли обосноваться в Харькове, найти скромную работу в Археологическом музее. Наступил трагический период в жизни художницы. Первой страшной вестью стал пожар в Нескучном, во время которого сгорел дом и погибли все ее работы. Жить было все труднее, но наконец объявился в Москве Борис Серебряков. Она поехала к нему, и уже вместе они вернулись в Харьков за детьми. Однако их планам осуществиться не удалось. Вскоре сыпной тиф отнял у нее мужа. Одиночество, отсутствие средств, неясность будущего...

— В это тревожное время, когда власть на Украине переходила из рук в руки, мама обратилась в Москву в Наркомпрос, и вскоре на ее имя пришла охранная грамота, подписанная Луначарским. Как поддержал ее этот документ! Он означал: нужна, помнят.

Семья вернулась в Петроград в начале 20-х годов. Большая квартира Бенуа вновь наполнилась жильцами. Было голодно, не хватало дров. Но в самой дальней комнате, где стояла буржуйка, Зинаида Евгеньевна писала без устали.

— Я начала заниматься балетом, и мама часто бывала за кулисами Мариинского театра. Балерины очень любили ее, скромно одетую, пожалуй, незаметную рядом с шикарными нэпманшами — поклонницами артисток. Кстати, из одежды она больше всего любила строгие английские костюмы, и только, пожалуй, разлетавшиеся, не желавшие собираться в прическу волосы напоминали о ее принадлежности к клану художников. В театре мама постоянно рисовала, и в нашей квартире появились теат-

Продолжение см стр. 25.

З. Е. СЕРЕБРЯКОВА.
ТАТА В ТАНЦЕВАЛЬНОМ КОСТЮМЕ У ЕЛКИ. 1922. (ФРАГМЕНТ)

З. Е. СЕРЕБРЯКОВА. 1884—1967.

ЗА ТУАЛЕТОМ.
АВТОПОРТРЕТ. 1909.

Государственная Третьяковская галерея.

З. Е. СЕРЕБРЯКОВА.

СПЯЩАЯ КРЕСТЬЯНКА. 1917. Государственная Третьяковская галерея.

ПЕЙЗАЖ. 1916.

ПОЭТИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ

РУССКАЯ МУЗА XX ВЕКА

ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

Давид БУРЛЮК, поэт и художник, первый понял гениальность Маяковского, он был его ближайшим соратником. Они вместе были исключены в 1914 году из Московского училища живописи, ваяния и зодчества за «участие в публичных диспутах», вместе продолжали эпатировать буржуазную публику желтой кофтой, деревянной ложкой в петлице, рисунками на щеках. Прожив долгое время в США и издавая там журнал «Цвет и рифма», Бурлюк приезжал в 1956 году в нашу страну, и мы, молодые поэты, смотрели на этого бывшего потрясателя основ, ставшего жилым, согбенным старичком, как на случайно уцелевшую после стольких бурь реликвию.

Василий КАМЕНСКИЙ был самым настоящим русским самородком. Один из первых русских летчиков, он вошел в группу кубо-футуристов, дерзко экспериментировал в поэзии, не боясь ни зауми, ни молодеческого ритмического фонтанирования. Приводимый здесь фрагмент «Сарынь на кичку» всегда восхищал меня своей разбойной, истинно стенькоразинской удалью.

Дир ТУМАННЫЙ (псевдоним Николая Панова). Входил в Литературный центр конструктивистов. Стихотворение взято из антологии «Поэты наших дней», 1924 г. Впоследствии сбросил свой экзотический псевдоним и стал прозаиком-маринистом.

Николай ЭРДМАН, выдающийся советский драматург, написавший для Мейерхольда две знаменитые в свое время пьесы «Мандат» и «Самоубийца». Начинал как талантливый поэт.

Итак, как вы видите, эта публикация весьма калейдоскопична по своему составу, что было характерным признаком того литературного периода. Из этой калейдоскопичности, как из плазмы, росла и великая русская поэзия, хотя создать ее было суждено другим поэтам.

ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ

1884—1961

СТЕПАН РАЗИН

Дрожат берега

Дрожат берега,
Берегут берега,
Стерегут рога
    Врага.
    Ага.
    Чу.
    У врагов —
Купцов, князей, бояр —
Мы добудем парчу,
Золотой да соболий
    Товар.
Чуй.
Едут.
Меж крутых берегов
Среди гор-стариков
    Атаман
    Прогремел
    В барабан:
Меж крутых берегов
Стая быстрых стругов
    Окружает
    Большой
    Караван.
Ночь — темна.
Кровь — хмельна.
Жизнь — вольна,
Да неволит на Волге
    Волна:
Эй, сермяжники,
    Беритесь за привычку —
Дорогих гостей встречать.
Эй, гуляй —
    Сарынь на кичку!
Наворачивай сплеча.
    Драли,
    Жали
    Бары
    Долго
Крепостную голытьбу.
    А теперь —
    Бунтует Волга
За сермяжную судьбу.

На великий пролом

На крыльях рубиновых,
Оправленных золотом,
Я разлетелся Уральским орлом.
В песнях долиновых
Сердцем приколотым
Я лечу на Великий Пролом.

Будет — что будет.
Что воля добудет,
Всё в этой жизни
Я выпью вином.
Рай или каторга,
Разгул или старость —
Благословенье в одном:

С чарой хрустальной
В руке неустальной
Горноуральским орлом,
Душой солнцевстальной,
Чеканно-кристальной
Я лечу на Великий Пролом.

Будет — что станет.
Судьба не устанет
Встречать чудесами
За песнями,
С песнями.
Под небесами
Видеть друзей
Крыловейными стаями —
Вот мои радости детские,
Дни молодецкие.
Встречать и кричать:
Эй, рассердешные,
Друзья-открыватели,
Искатели вечные,
Фантазеры-летатели,
В стройных венчальностях
Душ и сердец
Давайте построим мы
Стройный Дворец —
Для единой семьи,
Для бесшабашных затейщиков.
Давайте взнесем
Свои легкие головы
На отчаянное Высоко.

За песнями,
С песнями.
Рай или каторга,
Разгул или старость —
Благословенье в одном:
Океанским крылом
Взмахнем по земле
И полетим
На Великий Пролом.

Будет — что сбудется.
Земное забудется,
Если на радугах
Будут раскинуты
Палатки из девичьих кож
Для нас —
Пролетальщиков.

1916

ДИР ТУМАННЫЙ

1903—1973

СОНЕТ

В углу чугунка, дышащая жаром,
На зеркале — мешки из-под пайка.
Диван. Дрова. Кастрюли. С потолка
Свисает лампа бледно-желтым
    шаром.
Нависли дни бесформенным
    кошмаром:
Хлеб вышел весь. Картофель есть
    пока.
В душе тоска — вязка и глубока
И тело — как разбитое ударом.
А утром боль как бы от сотни ран,
В ногах озноб и в голове туман —
Остатки безнаркозного наркоза.
Но мозг сверлит упорнее «итти»!
И он приходит — ровно к десяти —
В одну из канцелярий Совнархоза.

1921

ДАВИД БУРЛЮК

1882—1967

Каждый молод, молод, молод.
В животе чертовский голод.
Так идите же за мной...
За моей спиной.
Я бросаю гордый клич
Этот краткий спич!
Будем кушать камни, травы,
Славить горечь и отравы.
Будем лопать пустоту,
Глубину и высоту,
Птиц, зверей, чудовищ, рыб,
Ветер, глины, соль и зыбь!..
Каждый молод, молод, молод.
В животе чертовский голод:
Все, что встретим на пути,
Может в пищу нам пойти!

НИКОЛАЙ ЭРДМАН

1902—1970

Пусть время бьет часы усердным
Сторожилом,
Они не заглушат неторопливый шаг
С добром награбленным шагающей
    поэмы.

Но знаю, и мои прохладные уста
Покроет пылью тягостная слава.
И шлем волос из вороненой стали
На шлем серебряный сменяет голова.
Но я под ним не пошатнусь,
    не вздрогну,
Приму, как должное, безрадостный
    подарок,
И в небеса морозную дорогу
Откроет радуга мне триумфальной
    аркой.

Дети, дети!
Учитесь у ночей полярному
    молчанью,
Сбирайте зорь червонный урожай.
Ведь тридцать стрел у месяца
    в колчане,
И каждая, сорвавшись с тетивы,
Кого-нибудь смертельно поражает.

Никто не знает перечня судеб —
Грядущих дней непроходимы дебри.

И пусть весна за городской заставой
Опять поет веселой потаскухой,
Вся в синяках и ссадинах проталин
По рытвинам
И дорогам.
Я также сух
И строг.
И перед ней, как перед всяким
    гостем, привратником,
Блюдящим мой устав,
Ворота рта
Торжественно открыты.

Тяжелой головы пятиугольный ковш
Из жизни черпает бесстрастие и
    холод.
Недаром дождь меж пыльных
    облаков
Хрустальные расставил частоколы.

Отшельником вхожу я в свой затвор
И выхожу бродягою на волю.
И что мне труд и хлеб, когда мне
    в губы пролит
Знакомый вкус любимых
    стихотворцев.

О, времени бесцветная река,
Влеки меня порывистей иль тише,
Что хочешь делай, но не обрекай
Меня, преступника, на каторгу
    бесстишья.

1921

1917 • 1987

О СУДЬБЕ И СВЕРШЕНИЯХ ПЕТРА КОНДРАТЬЕВИЧА КОЛЕСНИКОВА.

РАБОЧИЙ

Владимир КАРПОВ

В год семидесятилетия Октябрьской революции много будет написано о больших достижениях, содеянных советским народом за эти годы. А мне хочется рассказать только об одном человеке. До Октябрьской революции он был рабочим. И сегодня все тот же рабочий. Вроде бы революция ему ничего не дала: как был рядовой труженик, так и остался.

Непонятно это — представитель класса-гегемона, основной движущей силы в революции, и вот через семьдесят лет в том же звании. За эти годы некоторые солдаты выросли в маршалов, кое-кто из беспризорников-детдомовцев стал академиком, бывшие пастушата и черномазые мальчишки из шахт — ныне прославленные артисты, профессора, председатели колхозов. А он был рабочим, им и остался. Может быть, заурядная личность? Нет никаких талантов, способностей? Наоборот! В этом вы убедитесь сами.

Однако пойдем по порядку, не торопясь. Начнем с далеких дореволюционных дней. Причем большая правдивость, мне кажется, будет в прямом рассказе самого Петра Кондратьевича Колесникова, я буду лишь иногда помогать ему и читателям своими пояснениями там, где они понадобятся по ходу рассказа.

Итак, мы в Ростове, у Петра Кондратьевича дома. Квартира большая, просторная — трехкомнатная, обставлена прочной мебелью, которая появилась после войны, тогда еще не было модерновых стенок, сервантов. Однако все необходимое в квартире есть — холодильник, телевизор... И много книг.

Петр Кондратьевич, как вы понимаете, не молод, ему за восемьдесят. Но выглядит он гораздо моложе своих лет: среднего роста, крепкий, быстрый, энергичные жесты порывисты, глаза веселые, жизнерадостные. Чтобы наглядно он встал перед вами, представьте человека, по внешности и говору похожего на известных всем вам артистов в образах Максима и Чапаева. Вот если их мысленно объединить, то и получится Петр Кондратьевич. Не будем вдаваться в детали: чей нос, чьи глаза. А типаж, характер такой. Он приятный собеседник — говорит свободно, память у него поразительная, все даты, имена и отчества друзей молодости, не говоря уж о более близких годах, не припоминает, как это случается у пожилых, а произносит легко, без напряжения памяти.

Итак, ему слово.

— Родился я 11 июня 1905 года в слободе Шарпаевка, сейчас Тарасовский район Ростовской области. Отец работал у помещика на мельнице, по-местному назывался мирошником: и на камнях молол, и на вальцах, и просто на пшено, и все такое... Водяная мельница стояла на реке Калитве, впадающей в Северский Донец возле Белой Калитвы. Шарпаевка наша называлась так потому, что бедно жила — обшарпанные. Да и рядом поселки не богаче нас: Голодаевка — объяснять не надо, Головка — голытьба. Семья наша была большая. Отец всегда договаривался с помещиком о харчевых, это был основной прокорм семьи. Правда, был у нас огород, но хлеба своего не имели. Мы не казаки, а иногородние, пришлые. Отец — уроженец Усть-Медведевской станицы, сейчас это Волгоградская область. Сюда пришел молодым, познакомился в Шарпаевке с моей будущей матерью, Еленой Федотьевной Жуковой, и прожили вместе всю жизнь.

Едва я подрос, определили на работу к помещику. Гонял лошадей в конном приводе, это тогда был такой «мотор». Так начал работать еще при отце. Он хотел дать мне если не образование, то хотя бы грамотность. Пристроили меня в одноклассное училище. Одноклассное — это название, а учиться там надо два-три года. Учился я с охотой, получил похвальную грамоту по окончании. Отец мои успехи оценил — определил в двухклассную церковноприходскую школу. Было это уже в 1918 году — революция. В школе ученический совет создали, а меня избрали председателем. У меня была связь с Советом народных депутатов. В Совете меня встречали хорошо, поддерживали во всех вопросах, обращались ко мне «товарищ»! А я ведь еще мальчишка, мне странно уважительное отношение. Они мне в отцы-деды годились. Ну, какие у нас в школе были вопросы: первое — отмена телесных наказаний, убрать из программы уроки закона божьего. А в рабочем Совете, помню, знамени настоящего не было — знамя было нарисовано на стенке, и на нем написано Р. С. Д. Р. П. Это ж первый год после революции.

Отец недолго пожил. Умер. Мне надо было работать, кормить семью — лет всего тринадцать, но я старший.

Друг отца, Ковалев Ефим Леонтьевич, пришел на второй день после похорон и говорит:

— Петро, мать больная, сестренке семь лет, чем будете жить? Подумай об этом. С крестьянством ты не связан, ты рабочий. Пойдем завтра к хозяину мельницы.

А хозяин — инженер Михаил Осипович Шанк, ему помещик сдавал мельницу в аренду. На Дону в восемнадцатом еще старорежимные порядки были.

Мать мне рубашонку постирала, брючишки. Наутро пошли.

Хозяин как раз кушал. На столе самогон, сало, пирог. Жена у него русская — Марфа Васильевна. Вошли мы. Ефим Леонтьевич говорит:

— Михаил Осипович, вы простите, что мы пришли во время обеда, но я вот привел хлопца Кондрата Кузьмича, которого мы похоронили, надо его пристроить. У него мать больная, сестренка малая, а жить нечем.

Шанк вытер усы, спрашивает:

— Грамотный?

— Да.

— Что окончил?

— Четыре класса.

— О, гут, гут!

В то время в деревне это было большое образование.

— Я тебя приму, сделаю из тебя весовщика. У нас десятичные весы, я научу тебя на них работать, и ты будешь брать отмер.

Отмер — это вот что: привозит крестьянин десять мешков — десятый мешок нужно забрать за помол.

— Давай договоримся об оплате. Деньги сейчас и донские, и керенские, и николаевские, и ни за те, ни за другие ничего не купишь. Решим так: я буду в месяц давать тебе четыре пуда ржи. Если будешь хорошо работать, то к празднику — коробку белой муки и четверть подсолнечного масла. Кроме того, я тебе буду давать четыре мешка. Из мешков можно штаны и рубаху сшить, тогда мануфактуры не было.

Ефим Леонтьевич меня толкает, мол, кланяйся и соглашайся. Ну, чего же я не соглашусь? Я кланяюсь:

— Спасибо, Михаил Осипович.

— Приходи завтра утром.

Утром — это до рассвета.

— Кроме того, ты должен Марфе Васильевне наносить с речки бочку воды для стирки. А для чая и пищи четыре ведра должен принести с помещичьего двора, там колодец с хорошей водой. Еще ты должен дров наколоть. Дрова дубовые. Я другого заставлю напилить, а наколоть уж ты должен.

Я вышел, Ефим Леонтьевич говорит:

— Ты не дрейфь, ты уже взрослый, рабочий. Пришел домой, рассказал все матери. Она расплакалась:

— Ну что ж, кормилец ты мой, выбора у нас нет...

Слушал я Петра Кондратьевича, и как-то не верилось, что этот человек еще у помещика работал. Я тоже человек немолодой — мне за шестьдесят, но я о помещиках только в школе на уроках истории слышал. В десять лет был рабочим, гонял лошадиный «мотор» по кругу, от зари до зари... От одной мысли о повседневном кружении лошадей и сейчас стало муторно...

А за длинный перечень обязанностей, возложенных на него в тринадцать лет, пожалуй, самый здоровенный шабашник в наше время не возьмется. А возьмется, так рухнет через неделю. Парнишка же тянул эту лямку годами — потому что ответственность: он же кормилец семьи...

И представил я детей своих и детей моих друзей и подумал: кто из них способен перенести такое в десять — тринадцать лет? И решил: никто! Во всяком случае, убежден я только в одном — такого уже не может быть в нашей стране. А вот в зарубежных поездках нередко видел я нечто подобное.

...Петр Кондратьевич продолжал:

— Особенно трудно было зимними ночами. Выпьет хозяин самогону и посылает искать ему по деревне еще самогон этот. И боязно, а идти надо. А зима, холодно, одежонка из мешковины не греет. Палку возьму, от собак отбиваться. Где брать чертов самогон?.. Потом все узнал, и собаки меня уже не трогали — привыкли.

Однажды приехал на мельницу белый офицер и говорит Шанку:

— Ты мельницу разбери, чтоб красным не досталась...

Ну, мы разбирали с умом, вроде бы все разобрали, но где что — примечали.

А через день мать лежит ночью, слышит цокот копыт, мороз сильный был. Она говорит:

— Сынок, глянь в окно, если у лошадей хвосты подрезаны — значит, наши пришли.

Посмотрел, не видно из окна. Набросил зипунок, вышел. Смотрю: лошади с подрезанными хвостами. И еще вижу: конники в странных шапках — с бугром. Я помчался домой:

— Мама! Хвосты подрезаны и островерхие шапки!

Мать за долгие годы впервые улыбнулась, перекрестилась:

— Ну, сынок, нам теперь легче будет.

Радости дождались, а пожить не довелось — умерла мать в те же дни. Схоронил — и плакать некогда: дело не ждет.

Притащили спрятанные детали, ремни, мельница на третий день уже работала. Белые больше не вернулись. Мельница перешла сельскохозяйственному товариществу, подчинялась окружному комитету Донецкого округа. Меня избрали председателем рабочкома. А председателю пятнадцать лет! Об этом никто не думал: с виду я совсем взрослый, и все меня уже как рабочего знают. Я даже в Красную Армию попросился, а комиссар — в наших местах самый главный, товарищ Щаденко,— сказал:

— Хлеб сейчас для Советской власти — главное. Ты, товарищ, здесь большую пользу принесешь и для Красной Армии. Старайся, чтоб мельница работала бесперебойно.

— Понял, товарищ Щаденко!—ответил я. И скажу вам откровенно, особенно меня ободрило и мобилизовало слово «товарищ». Ведь так назвали и он меня, и я его.

День и ночь я работал после этого разговора. Дядя Ефим даже придерживал: «Смотри пуп не надорви!» А я ему: «Не на Шанка работаем, дядя Ефим, на себя. На народ, на власть Советскую».

Вот так десять лет и пролетели день за днем, от зари до зари. А чем в те годы был хлеб — всем понятно. И какие страсти полыхали вокруг хлеба — тоже хорошо известно. Тут как на фронте — и к нам с оружием подступали, и смерть рядом была...

Не буду пересказывать многие, как в наши дни говорят, экстремальные ситуации, в какие попадал Петр Кондратьевич. Хотя в чисто литературном плане они весьма выигрышные, могли бы пощекотать нервы. Однако не к тому стремлюсь, не в сюжетной занимательности дело. Мне кажется, что более интересны и существенны внутренние, психологические, нравственные мотивы в характере Колесникова. Вот хотя бы то, что произошло с человеком только из-за нового слова «товарищ». Это слово оказалось для молодого парнишки целой программой действия, установкой в жизни, руководством в делах и направлении мысли.

Очень часто бездумно произносим мы сегодня это слово, просто так, походя, не вникая в его глубинный смысл. А оно не только для Петра, для всего поколения наших дедов — участников революции и гражданской войны — имело особый смысл. Это слово постоянно объединяло их. А до революции, в подполье? Слово «товарищ» как своеобразный пароль стало пропуском в семью революционеров. Оно не произносилось всуе, и каждый, кого так называли, знал и понимал, как много это слово для него открывает и на какие дела обязывает.

Говорят, слова изнашиваются, утрачивают смысл, стираются, как монеты, от долгого употребления. Наверное, и правда: слово тускнеет... А вернуть ему полнозвучие можно ли? Думаю, да. Все зависит от того, каким смыслом мы его наполняем. А еще вернее — от того, соответствуем ли сами его полному смыслу. Как оно значительно и прекрасно звучит в сегодняшних наших делах, тоже революционных по своей значимости в истории нашего Отечества! Оно обретает сегодня свой первозданный смысл. Смысл соратника, друга по борьбе. Но у всех ли? Вызывает ли это слово у наших молодых людей такое же волнение, какое всколыхнуло когда-то в душе Петра? Это ведь было счастливое волнение... Чувство вины перед детьми ощущаю: мы, старшие, не сберегли тепло этого слова, не передали его наследникам. Надо, надо это сделать!

Петр Колесников продолжал:

— Началась коллективизация. Привоз на мельницу резко сократился. Заработков нет. Надо было сокращать работников. Кого? Решил комитет уволить Ефима Леонтьевича. Я, конечно, с этим не согласился. Поехал в Тарасовский район, рассказал все как есть и стал просить — нельзя старика сокращать, у него шестеро детей, лучше меня увольте, я молодой, мне не страшно, а его нельзя. Три дня доказывал, уже гнали меня, но отстоял старика. Он до конца дней своих на той мельнице проработал.

Честно сказать, я не очень держался за мельницу. В стране об индустриализации заговорили. Где-то большие дела разгораются, хотелось и мне в них поучаствовать. Пришла весть: в Ростове, недалеко от нас, стройки закладывают. Вот в 1930 году я туда и подался. Отправился налегке — пиджак и рубаха на себе, в сундучок сатиновую косоворотку синюю, с белыми пуговками, буханку хлеба, кусок сала. В карман комсомольский билет, профсоюзную книжку, характеристику производственную — вот и все сборы.

В Ростове первым делом пошел в профсоюз «Всех рабочих земли и леса». Говорят: работы нет и не предвидится. Пошел на биржу труда, а считалась она биржей труда квалифицированных рабочих и служащих. Меня там спрашивают:

— У тебя денег много?

Я сказал, что хозяйке квартиры заплатил за месяц. Они смеются:

— Милый! Хорошо, если через пять-шесть месяцев получишь работу. Раз у тебя такое положение, иди на биржу чернорабочих, там тебя временно куда-нибудь пошлют.

Послушал их: люди городские, лучше меня знают. Пошел. Меня взяли на учет, сказали приходить утром отмечаться, и тогда будут давать на три копейки хлеба. Это для безработных. И еще талоны на обед давали и талоны на проезд, учли, что я живу на окраине, мне надо трамваем ехать. Я походил некоторое время на эту биржу, а потом нас, человек сто или больше, послали учиться на каменщиков. Научили. Направили на строительство дома-гиганта. Около месяца, наверное, проработал. Однажды старший хозяйкин сын, Василий, который работал котельщиком на «Красном знамени», спрашивает меня:

— Сколько ж ты заработал?

— Сорок два рубля.

— За две недели?

— Ну, какой — за две недели... За месяц!

— Пойдем к нам на завод.

— Как же... К вам на завод не принимают...

А он утром настоял: пойдем, и все. Пришли. Мастер Кныш у них, солидный, как вообще старинные мастера, говорит:

— Ну, здоров, молодец. Ты где работал?

— На мельнице, в деревне.

— У-у! Да ты у нас мастером будешь. Я знаю, как в деревне: шпонка сломалась — сам делает, печка задымила — сам поправит, ремень порвался — сам сшивает. Пойдешь к Ивану Помникову помощником.

Работенка подходящая! Котлы делали. На клепку меня поставили. Я внутрь залезаю, поддерживаю, а напарник снаружи пневматическим молотком лупит, как из пулемета. Выходишь глухой. Ну ничего: главное, работа есть!

Проработал так до февраля 1931 года. Прихожу однажды на работу, смотрю, висит большой список — триста человек уволили в связи с отсутствием металла. Опять многие пошли на биржу труда, а я в числе 150 человек — на «Ростсельмаш». Там нас выстроили, выходит начальник отдела кадров: ты пойдешь туда-то, ты — туда, до меня дошел — «ты пойдешь молотобойцем». Выбора не было. Сказали тебе — и все, не хочешь — иди гуляй.

Работа, конечно, тяжелая. Попал я в отдел грядилей и лемехов. Тогда начинали трехлемешные плуги делать для тракторов. Грядиль — часть плуга. Делали ее из фасонного металла. Норма была — два грядиля за смену. Металл нагревали на газу. Газ из угля вырабатывали. Только на метр от земли воздух был, а выше вообще дышать невозможно, несмотря на то, что фрамуги на всю открыты. Тяжелейшая работа была, и дышать трудно, и грядиль килограммов семьдесят весом; поворочай да помахай молотом восемь часов — десять потов сойдет. Попал в бригаду Сидорова. Тут меня опять выбрали профоргом бригады. А рабочие, знаете, какие? Бывшие грабари, так называли возчиков. Из центральных губерний люди приехали со своей лошаденкой, телега в три доски. Целый поселок был землянок. Вот они и стали рабочими. Более шестидесяти процентов неграмотных.

Завод только оборудовался. Специалисты иностранные не спешили. Зачем спешить — за каждый день валютой платят. Немцы в основном были. Тогда без своих специалистов оборудования нам не продавали.

В 1932 году, в феврале, Михаил Иванович Калинин приехал в Ростовскую область проводить слет ударников-колхозников. Второго марта он посетил наш завод. Пришел и в нашу бригаду. Время было позднее — вторая смена. Я вытирал станки. Хоть мы на них и не работали, но ухаживали обязательно. Пресс 488-й с комнату размером, я наверх залез, вытирал там. Смотрю, начальник цеха, Шкуренко, машет мне — слезай. Рядом с ним человек с бородкой, в пальто, шапочка, тросточка. Ну, я мокрый весь, печка тут, детали красные, раскаленные, рубашка не просто мокрая, а течет с нее. Михаил Иванович руку протягивает. Я растерялся — руки в масле, вытираю их паклей, а он смеется:

— Да я же сам металлист. Чего вы испугались? Ну, как работается?

Я рассказал все: какая норма и так далее. А он говорит:

— Петр Кондратьич, а сколько у вас в бригаде?

— Шестьдесят пять человек.

— А неграмотных?

— Больше половины.

— А где учатся?

— В ликбезе... Идут даже с бородами. Еще у нас курсы повышения квалификации, это кто три-четыре класса окончил.

Короче говоря: где, кто, как живет — я ему все рассказал, ему понравилось. Потом говорит:

— Петр Кондратьич, вот, смотрите, какое у нас оборудование стоит, и все оно мертвое, а мы заплатили за него золото. (А иностранные спецы покуривают трубочки и улыбаются: посмотри, мол, президент разговаривает с рабочим!) Я обращаюсь к вам, к молодежи, к комсомольцам,— надо осваивать эту технику, чтобы она нам давала пользу, а деньги, которые мы платим этим специалистам, нужны нам для других дел, для нашего народа.

Уехал Калинин, мы начали осваивать: немцы на обед, а мы за станки. Делали колеса для плуга, которые по борозде идут. Шестимиллиметровый металлический лист разметишь, установишь под пресс как надо. А это не просто, лист тяжелый, большой, как стол, не очень-то поддается. Немец всего два колеса делал до обеда. А мы, молодежь, покуда немец пообедал, двадцать четыре колеса отштамповали! Он глянул: глаза у него на лоб! Замахал руками и побежал к начальнику цеха: я, мол, не отвечаю, и фирма не отвечает, вы нарушили наш договор и поэтому увольняйте меня! А тот и рад стараться: давай заявление. И уволил. Так мы избавились от этих специалистов. Не от всех, конечно, некоторые остались.

Вот так нас вдохновил Калинин на новые дела, и мы освоили станки.

Норма для иностранцев была — шесть колес в день! Мы поработали две недели и попросили установить норму двести пятьдесят. Кузнецов так и осталось трое, молотобойцев — по два, и нагрузка вся на них. Короче говоря, производительность выросла, дошло до того, что 350 и больше делали. Бригада загремела на весь завод. Было и поощрение за такие показатели: два места в рабфак нашей бригаде дали. Михаил Иванович, когда беседовал с нами, говорил:

— Учиться надо, учиться и еще раз учиться. К этому призывал нас Ленин, и этот вопрос с повестки дня не снимается. Будем учиться, чтобы освоить эту технику, которая стоит, и использовать ее на полную мощность.

Вот я иногда сравниваю нас с теперешней молодежью. Когда веду с ними беседы, говорю:

— Вы посмотрите, у нас на нашем заводе институт, два техникума своих, четыре ПТУ, две средние школы. А тогда два места на рабфаке —

большое поощрение было. Сейчас только учись!

Да что говорить! У нас сегодня в ремонтно-механическом более тридцати человек окончили наш втуз и техникумы. Вот такая разница.

Тут надо сказать, как я женился. Все произошло быстро и неожиданно. Работа работой, но мы, парни молодые, вечерами выходили погулять.

Роща, и парк Фрунзе, и даже Сельмашевская роща были платные. Хотя там и плата была 15—20 копеек, но все равно, считалось, это деньги. Поэтому многие гуляли по Нахичеванскому бульвару бесплатно. Встретил я однажды на этом бульваре товарища по армии Антонова Николая. Мы с ним в территориальной части проходили военную подготовку, была тогда такая система, без отрыва от семьи и работы. Ну вот, встретил, он идет с двумя девушками. Почему, думаю, он с двумя, а я один? Одна из барышень мне очень понравилась, вот я прямо к ней и подошел:

— Девушка, вы простите меня, пожалуйста, товарищ мой нас познакомить не догадается, давайте познакомимся сами.

Пошли рядом, где живет, работает, все расспросил. Звали ее Валя. После гулянья проводил до калитки, спрашиваю:

— Ну что? В кино идем завтра?

А шла картина «Человек-невидимка». Она согласилась. После кино недолго погуляли, но завтра рано на работу. Пошел провожать. И так она мне понравилась с первого взгляда, что я, не ведая, что творю, выпалил:

— Слушай, Валя, выходи за меня замуж...

Она чуть в обморок не упала, растерялась.

— У меня же есть мама и братья, надо с ними поговорить.

— А мама где живет?

— В станице Ольгинской. В воскресенье поеду...

Неделя прошла, в воскресенье она поехала. Братья к матери туда тоже приехали. Она им сказала. Мать говорит:

— Мы ж его не знаем... И ты тоже не знаешь... Смотри сама: как решишь, так и будет.

Когда она вернулась, мы вечером встретились. Она мне пересказала, что родные говорили. Договорились мы с ней в долгий ящик не откладывать. Она беспокоилась:

— У меня ж ничего нет. Нас в семье детей было тринадцать душ. Я в детдоме росла.

— Вот и хорошо,— говорю.— И у меня ни черта нет. Зато не будем друг друга укорять, что ты пришла голая или я... Будем работать и наживем все, что нужно.

30 мая познакомились, а 13 июня зарегистрировались. И всю жизнь душа в душу прожили — почти полвека. 20 февраля 1980 года она скончалась. Рак сгубил мою дорогую подругу жизни...

Петр Кондратьевич не прятал слез, достал платок, отер глаза, вздохнул глубоко, тяжко и продолжил свой рассказ:

— В кузне я тогда поработал недолго. Послали меня на профсоюзные курсы при заводе. ЦК профсоюзов их организовал. Я их окончил, направили в ремонтно-механический цех и назначили председателем цехового комитета. Это была освобожденная должность. Год я работал освобожденно. А хотелось иметь квалификацию. Был у нас фрезеровщик Панферов Василий Ильич, очень высокий мастер своего дела. Я как-то ему и говорю:

— Василий Ильич, я хочу стать фрезеровщиком. Помоги.

— А как?

— А вот так: в первой смене я работаю предцехкома, а вторую смену буду по три-четыре часа с тобой работать.

— Идет. Станок есть. Приходи!

Начали с несложных деталей, он мне объяснял: это так, это то. Месяца два я занимался. А у нас был Мартиросов Иван Михайлович, секретарь партийной организации, пожилой, мудрый мужик, работал он старшим мастером.

После встречи с Михаилом Ивановичем Калининым, еще когда в кузне работал, в 1932 году я стал членом партии. Так вот, вызывает этот Иван Михайлович меня и говорит:

— Ты что там подпольными делами занимаешься?

— Какими?

— У Василия Ильича учишься?

— Да.

— Партийная организация не против. Только ты фрезеровщиком не будешь, а будешь строгальщиком.

— Почему, Иван Михайлович?

— У строгальщиков не хватает коммуниста, чтоб создать партийную группу. Там мастер Соколов Александр Петрович и Никифоров, старший мастер,— коммунисты, ты придешь, вот уже и группа будет.

Ну, я человек дисциплинированный, пошел туда. Начал осваивать строгальное дело. Помогли товарищи, конечно. А через год уже работал самостоятельно. И вскоре даже стал многостаночником. Тогда Латрыгин из инструментального цеха первым перешел на два станка. Пришел в обеденный перерыв в столовую и рассказал, что, мол, я перешел на два станка, давайте и у вас это организуем. И еще обращение было из наркомата и ЦК профсоюза, просили поддержать. Никифоров, старший мастер, вызывает и говорит:

— Петро, давай становись ко второму станку.

— Да вы что, смеетесь? Меня же засмеют да и вас тоже! Есть товарищи, которые поопытней меня!

— Они могут не одолеть трудностей, они беспартийные, а ты коммунист.

Ну что ж. Надо. Три месяца работал на двух станках. Получилось. Нелегко это было: у нас каждый день новая деталь. Пока приладишься, станок наладишь, времени мало для работы на одном станке, а тут надо, чтобы оба не простаивали. Вот до начала смены приходилось чертежи изучать, каждое свое движение рассчитывать. А во время смены так закрутишься, гудок загудит — и не веришь, что день прошел. Приезжает однажды представитель Москвы, из профсоюза, объявляет:

— За то, что товарищ Колесников в течение трех месяцев, работая на двух станках, выполнил норму более чем на двести процентов, награждается он грамотой и денежным окладом.

В общем, дело пошло — рабочие просят: давай и мне два станка. Фрезеровщики, токари, другие. Так родилось движение многостаночников. Ну и я попал в передовики. Работал, прямо скажем, от души, но движение-то началось благодаря партийной группе, которая меня направила, это общая их заслуга была.

Потом пришла пора комбайны делать. Мы еще из кузни ходили помогать строить цех комбайнов. По два, по три часа после смены работали. Хотелось, чтобы завод побыстрее поднялся. Это ведь всех нас очень касалось. Был у нас на заводе инженер Ивахненко (он погиб во время войны, его с женой расстреляли немцы здесь, в Ростове), так он был не только очень эрудированный инженер (наш институт окончил, его и в Америку посылали), но еще и боевой коммунист, организатор хороший. Увлек всех, раззадорил строить новый комбайновый цех. Конвейера еще не было. Первые комбайны вручную лепили. Но какая радость была! Сейчас освоили сложнейший «ДОН-1500». Большое дело! Но тогда, до войны, радость была какая-то более яркая. Может, потому, что первые?..

При этих словах Колесникова подумалось мне о том, что поколение того периода индустриализации было не то что особенное, а какое-то во всех делах лично заинтересованное и ответственное. Вот хотя бы то, о чем Петр Кондратьевич говорит,— после смены, усталые, шли не отдыхать, а находили силы еще и на стройке другого цеха поработать. Сами шли. Считали необходимым побыстрее завод поднимать. Откуда такая сознательность? Почему она двигала людьми, прибавляла им силы? Рабочее чувство хозяина? Мой завод, моя страна? А если так, почему с течением времени это чувство в молодом поколении ослабло?

Так было... В наши дни, когда вспоминают об индустриализации или коллективизации, чаще всего пишут об ошибках, упущениях. Некоторые, когда пишут о тех временах, все вообще рисуют только темными красками. Почему образуется такой провал в памяти при ретроспекции? Вот передо мной вершитель тех дел, участник событий: у него глаза сияют, горят, лицо светится при воспоминаниях. А когда я с ним поделился своими размышлениями, Колесников с жаром сказал:

— Для нас это были не только трудности, но и обычная жизнь. Мы и любили, и семьи создавали, и детей рожали, и растили. В общем, все как у всех, как сейчас. А в целом о тех первых пятилетках скажу так: недооценивают их порой. А ведь без индустриализации разве раздолбали бы мы гитлеровскую механизированную махину? В 1941 году и отступали, и заводы эвакуировали, а многие заводы просто погибли от бомбежек, сгорели. И, несмотря на это, в 1942 году наша промышленность дала армии танков больше, чем вся спокойно работавшая на Гитлера европейская промышленность! Эту возможность, эту живучесть мы в первых пятилетках заложили, в тех самых, которые теперь, как вы говорите, при оглядке некоторые только через темные очки видят.

Тут наш разговор с Колесниковым подошел, пожалуй, к самым трудным годам жизни.

— В воскресенье собирался с женой пойти на Дон, но попросили выполнить срочный спецзаказ. Работаю. И вдруг подходит ко мне электрик, старик Жданов:

— Петр Кондратьич, война...

Люди сами собрались на митинг. Высказали мы свой гнев к агрессорам и готовность защищать Родину. Сразу принялись за маскировку, за переход на военную продукцию. Перешли на казарменное положение. У меня была броня, как у многих, и я до 13 июля побыл на броне. А 14 июля меня срочно забрали в ростовские стационарные авиамастерские. Там нужно было ремонтировать самолеты, уже были подбитые бомбардировщики.

Приехал в мастерские. Оказывается, обнаружился недостаток в хвостовой части бомбардировщика, и надо было срочно изготовить детали для исправления этого недостатка.

Осмотрел я деталь — сложная.

Начальник цеха говорит:

— Во что бы то ни стало станок отремонтируйте. (Всего один и был, и тот неисправный.) И для хвостового оперения сделайте хотя бы четыре детали.

И дает мне куски стали — толстенные. Там резать, резать, боже мой! К тому же это спецдеталь. Посмотрел — это ж за неделю не сделаешь! Подумал. Говорю: кузнец нужен. Привели молодого парня. Сидоров фамилия. Я кузнеца спрашиваю:

— Молот есть у нас 250 килограммов, не такой сильный, но отковать можно. Сделаешь?

Показал ему, он отвечает:

— Попробую.

И вот заложили мы в газовую печь болванки, восемь или десять штук.

А начальник цеха и еще тут полковник какой-то волнуются. Я, пока болванки греются, поставил две штуки и строгаю на станке. И все видят: это очень долго. Начальник цеха говорит:

— Я тебе даю солдата в помощь, ты никуда не ходи, он ужин принесет, а ты до завтрака, и так далее...

Ну, когда все ушли, стали мы с кузнецом ковать. Отковали с большим трудом четыре штуки. Закалить боялись. В общем, я за ночь четыре детали сделал и припрятал их. А поставил на станок болванку и делаю вторую сторону. Заря, смотрю, занимается. Начальник цеха прибегает:

— О-о! Да у тебя уже половина готова!

— Да, уже готова.

А про те молчу, думаю: спасибо кузнецу!

Вскоре полковник, солдаты пришли. Токаря, фрезеровщики встали по своим местам. Полковник к начальнику подошел. Слышу, начальник говорит:

— Ребята молодцы, думаю, сегодня к вечеру сделают.

Мы с кузнецом подходим, кладем четыре готовых детали.

Они смотрят, не поймут, в чем дело: как, откуда? Я докладываю:

— Ваше задание выполнил на двести процентов.

А там по ихним нормам все 1200 процентов. Полковник не ожидал такого. Сразу вызвали разметчика, тот размечает, проверяет — все как нужно...

Начальник цеха тут же мне благодарность, десять килограммов меду, отпуск к жене. А жена на окопах была, окопы рыла...

А потом у Колесникова пошла такая фронтовая «одиссея», что рассказать ее подробно и последовательно можно только в целой книге. Ограничусь пунктирным пересказом вех на его боевом пути.

— Меня забрали по партмобилизации в часть специального назначения, должны были высадить десант в тылу противника. Но началось отступление из Крыма, и нашу часть вместо десанта бросили прикрывать Керченский пролив.

После боев большие потери, переформировка, попал в отдельную 103-ю бригаду, ОИПТД — отдельный истребительный противотанковый артиллерийский дивизион 45-миллиметровых пушек. Мы должны были получить американские пушки, но мы их так и не видели, а получили свои сорокапятки. Потом отступали — Славинская, Верхне-Баканская, Крымская. Под Крымской у нас расчет погиб и пушку разбило. А потом защищали подступы к Новороссийску. У нас в батарее три пушки были выдвинуты вперед на километр. Как бы для предупреждения. И одна внизу, в лощине. Замаскировались. Вечером 24 августа нас бомбили восемь бомбардировщиков Ю-88. В одну пушку — прямое попадание. Ни пушки, ни людей — ничего не осталось. А нас только засыпало землей. Утром 25 августа приехали командир дивизиона и комиссар. Говорят, что ценою жизни надо немцев задержать хотя бы на сутки, потому что из Новороссийска еще не эвакуировано много населения. Мы сказали: постараемся. Они уехали.

А в 12 часов началась атака, на нас четыре танка пошло. Мы — за пушку. Я, Марков и Агапов. Я наводчик. Лейтенант в кустах стоит. А наша пушка, мы знаем, в лоб ничего не берет, это тагая — прости господи...

И вот, когда первый танк подставил бок — самое выгодное положение, лучше не придумаешь,— я первым снарядом перебил ему гусеницу. А другой танк хотел обойти и тоже подставил бок. И второго я подбил. В общем, я двенадцать снарядов выпустил. Ну, и нас засекли и стали расстреливать. Маркову голову снесло. Агапову все нутро вырвало прямым попаданием. Лейтенанту тоже голову оторвало. А я упал, потерял сознание. Сколько пролежал, не знаю. Но только кровь уже в глазах запеклась. Потом стал отходить, думаю: живой я или это снится? А глаза открыть не могу.

Потом меня погрузили на машину, а там уже человек пятнадцать раненых было. Привезли нас в Новороссийск, потом в Геленджик, потом в Лазаревку, в Сухуми, потом на поезд и в Боржомский район, в госпиталь. Осколков во мне было!..

Гипс наложили на колено и плечо, и здесь были осколки, тоже резали, вынимали. Да обе ноги, плечи тоже чистили. После госпиталя попал в Иран: погрузили нас на самоходную баржу в Пехлеви, а оттуда в Решт, в Казвин, и там стояли. Когда Тегеранская конференция проходила, мы как автоматчики в Тегеран для охраны ездили.

После конференции вызывают в политотдел, дают мне восемь человек и направляют нас в Тбилиси в военно-политическое училище. Курс краткосрочный прошли, присвоили мне звание лейтенанта. Получил назначение на фронт.

Пришли на вокзал — ни поездов, ни билетов. Жмем к коменданту: отправляй, а тот инвалид Отечественной войны, без руки.

— Только грузовые эшелоны,— говорит.— Что ж я вас, на бомбы, что ли, посажу?!

— Давай!

Вагон, в клетках бомбы, мы залезли на них и поехали так на фронт.

Попал я в гаубичный артиллерийский полк. С этим полком мы Курляндскую группировку ликвидировали.

А потом — не поверите!— получил назначение в город Кушка, на афганскую границу! Заместителем командира по политчасти. В Кушке я был до 26 мая 1946 года. Там меня избрали председателем суда чести. Я был трезвенник, наверное, поэтому...

Подведем короткий итог военной страде Колесникова: от трудностей в эту тяжкую пору не бегал, от брони отказался, ушел на фронт солдатом, вернулся командиром, кровь пролил за Родину в единоборстве с гитлеровскими танками — два сразил он, наводчик.

— В Ростов я вернулся в июне сорок шестого. Как приехал, сразу на завод. Там работал Дружинин Василий Матвеевич, мы с ним когда-то вместе поступали в институт, это еще до войны, он разметчик был, а я строгальщик. Но нас тогда начали критиковать на партсобрании, мол, вы работать не хотите, учитесь... Я взял да и бросил учиться: не хотелось мне, чтобы обо мне так думали. А он-то на своем настоял: «Учиться все равно буду».

И окончил институт. Он тогда, после войны, был главным механиком завода. Когда меня встретил, повел в цех комбайнов. Цеха нет — разрушен, воронка громадная, камыш в ней, лягушек полно, вода зеленая. Он говорит: вот что осталось. А наш ремонтно-механический на железных столбах был, их взорвали, крыша вся упала внутрь.

— Ну, как работать будем?

— По-фронтовому,— говорю.

— Сутки пополам?

— Конечно, а может быть, и по суткам.

Так мы и работали. Сначала у стенки, без крыши, поставили продольно-строгальный станочек «либерти», старенький, не знаю, где он и валялся. На нем и начали работать, цех стали поднимать. Когда восстановили стены, я первый перешел туда, еще никакого оборудования не было, мой станочек перенесли и времянку провели через окно.

А потом поступило оборудование из Германии—поперечно-строгальные гидравлические станки. Очень хорошие станки.

Словом, жизнь после войны стала налаживаться. Жена нашлась, она тоже в армии служила, фронты нас так разбросали, не знали мы, кто где. В общем, вернулась моя Валя... А квартиры у нас нет, занята другими жильцами, начали жить пока у моей сестры. Ну, потом и с квартирой все устроилось.

Работал я на трех-четырех станках: мне давали учеников по два, по три, потому что оборудование есть, а работать-то некому на нем. Я настрою станок, покажу ученику, что и как делать,— он и клацает. А сам сложную работу выполняю. Так начинали работать. Мои ученики даже трех месяцев иногда не дорабатывали: как увидишь, что у него получается, ну, и на самостоятельную. Время не ждет: кадры очень нужны.

Послушать Петра Кондратьевича — просто все. Отчего это? Может, он не хочет погружаться мыслями и душой в те трудные времена?.. Нет, мне кажется, это у него от характера. Он светлый оптимист, о чем бы ни говорил. Что бы ни пережил, во всем старается видеть — и видит — хорошее. Наверное, потому, что добрый он человек и всей душой любит людей, его окружающих, дела, которые вместе с ними вершил.

И опять я невольно сравниваю... И опять невольно огорчаюсь: куда девалась эта доброта во многих из нас в наши дни? Оглядишься — и неуютно иногда становится от желчности, озлобленности, нахрапистости многих из тех, с кем приходится встречаться. Время наше освежающее, все шлюзы распахнуты: говори, действуй, осуществляй свои планы и замыслы. Так нет, не делами порой поправляем огрехи, а словами. И опять прилив огромного уважения охватывает меня, когда думаю о своем собеседнике. Нет, не о покорности его, потому что в нем покорности и в помине нет. Это боец. Труженик. Он благороден и могуч, как были былинные богатыри русские, не мельчившие в делах. Сильный ведь всегда благороден и не мелочен.

Как мне хочется показать величие трудового подвига рабочего Колесникова и его товарищей на небольшом кусочке нашей земли, имя которому завод «Ростсельмаш»! Много и заслуженно высокими словами мы говорили и писали о делах героических на фронтах Великой Отечественной. И очень мало, как-то вскользь, походя говорили о величайшем и труднейшем испытании, которое преодолели после войны. Может быть, тогда счастье, радость Победы окрыляли нас? Может быть... Но как подумаешь, что ведь это были мы — все те же, кто четыре долгих года выматывался, истекал кровью и потом на полях сражений, все те же безвыходно, сутками, до обмороков стояли у станков. Это все были мы — издерганные, израненные, уставшие от потерь... Да еще двадцать миллионов не встали рядом, легли они в землю нашу от вражеских рук... Да еще очень много родных и близких легло в ту же землю от рук своих же, наших доморощенных истязателей. Это ведь тоже и угнетало, и подавляло души наши.

Вспомним цифры. Ими наше поколение не только отравлено, но и приучено видеть за ними масштабность дел, ими подкрепляемых.

...Восемь суток фашисты планомерно, с немецкой педантичностью и старанием взрывали и жгли завод. Восемь дней и ночей огненное зарево освещало развалины Ростова. Остались от завода груды бетона, искореженных металлоконструкций да воронки с зеленой водой и лягушками, о которых рассказывал Петр Кондратьевич.

Пришлось расчистить 150 тысяч кубометров завалов, уложить 21 миллион штук кирпича, соорудить 185 тысяч квадратных метров кровли. Много это или мало? А вы представьте себе только кровлю, размер футбольного поля — 5000 квадратных метров, так вот площадь кровли — 37 стадионов!

Построено 145 тысяч квадратных метров производственных площадей. Это — если опять же мерить в стадионах — будет тридцать, но не ровной, покрытой травкой площади, а оснащенной станками, другим производственным оборудованием.

...В 1947 году уже изготовили первые 240 плугов, а к концу года, как сказал Колесников, «слепили» 400 комбайнов. Ну, а на четвертый год возрожденный из пепла завод вышел на довоенный уровень.

За этими цифрами — труд сотен прекрасных людей, деятельность коммунистов, которую смело можно назвать беззаветной. И один из них — Петр Кондратьевич Колесников. Простой рабочий. Нет, не простой. В истории завода о нем сказано: «...стало развиваться с большим размахом, чем прежде, движение многостаночников. Их соревнование возглавил ветеран предприятия, строгальщик, коммунист Петр Кондратьевич Колесников. Еще в довоенные годы он обслуживал несколько станков, и его имя не раз заносилось на доску почета за высокую выработку, досрочное выполнение личных планов. И теперь он выполнял нормы на 300 процентов. Его показатели стали ориентиром для тех, кто решил досрочно выполнить личную пятилетку».

Какие сухие, подумаешь, слова... Но все же попытайтесь представить себе за ними порой круглые сутки перенапряжения, полуголодных (и это было) людей, разгребающих битый бетон, выпрямляющих покореженный металл (а сами не гнутся!)... И вот уже выходят из цехов новенькие, сверкающие комбайны! Конечно, это было чудом.

А теперь о том, о чем, как мне показалось, Петр Кондратьевич говорил всего труднее и короче, всего неохотнее. И лишь потому говорил, что я уж очень расспрашивал...

— Какие награды, Петр Кондратьевич, вы за свой труд получили?

Уж как он был вопросом смущен, как не хотел говорить о себе...

— В 1957 году наградили орденом Трудового Красного Знамени. В 1971 году мой завод получил орден Октябрьской Революции — и я вместе с ним. Через восемь лет мне второй орден Ленина дали... Ну вот. А уж в 1983 году был указ: Золотая Звезда мне и третий орден Ленина...

Но не только в этих наградах хочется мне увидеть итог жизни рабочего. Напомню: отец Петра Кондратьевича всю жизнь проработал и семью полуголодную оставил. А сын получил от него единственное завещание: «Помни жизнь мою проклятущую».

И вот сын построил новый завод, новое государство, новую жизнь. И остался простым рабочим. Но в этом звании он читает лекции в Ростовском институте сельскохозяйственного машиностроения. И в управлении своим государством участвует как депутат Верховного Совета СССР. И множество раз представлял свою страну за рубежом как член советских делегаций. Сам говорит: «Полшарика объездил».

Когда случилось Петру Кондратьевичу поездить по Австралии, был там на одной из встреч надолго запомнившийся вопрос. Известно, что про нас за рубежом много всякой ерунды болтают. Но этот вопрос был какой-то особенно глупый. «Расскажите,— просят,— как коммунисты гоняют рабочих палками на работу».

— Я прямо остолбенел от такого,— говорит Петр Кондратьевич.— Сидят передо мной люди как люди, но до чего же темные! Отвечаю им: «Смотрите на меня внимательно. Похож я на забитого палками? Ну, похож? А ведь и есть тот самый рабочий». Вижу, не верят. И в то, что палками не гоняют, не верят. И в то, что я простой рабочий, тоже не верят. Как хотите, думаю, что с вами делать...

Но случилось так, что из этой Австралии приехали к нам в Ростов несколько участников той самой встречи. Я водил их по заводу. Кажется мне, что были они сильно смущены, что когда-то такой вопрос мне задавали...

А вот в соцстранах у меня много настоящих друзей. В Болгарии, в Плевене даже и побратим — Иван Илиев Цветанов. Он токарь, в прошлом участник Сопротивления, коммунист. Есть нам о чем поговорить. Семьями дружим, друг к другу в гости ездим. У Ивана мать старая, ей уже за сто лет, всегда нас встречала со словами: «Ой, родненькие русские, как же я вас люблю!» После смерти Вали моей они приехали меня поддержать. Мария, жена Ивана, в квартире порядок наводила, хозяйничала. Сами знаете, в такое время хлопот много... А старший сын Цветановых, артист по профессии, свою дочку Валей назвал в честь моей Вали. Настоящие побратимы.

У Колесникова дома болгарские газеты — он их выписывает. Вот уже десять лет он член Комитета болгаро-советской дружбы.

...Чем еще удивить читателя? Не скрываю: хочется и приятно мне это делать, потому что много удивительного в жизни простого рабочего Колесникова. Кое-что просто перечислю. Он почетный гражданин города Ростова. Написал несколько книг: «Рабочий — это звучит гордо», «Разговор с молодым другом», «Дела и думы старого кадрового рабочего» и другие.

На заводе есть переходящий приз имени Петра Колесникова. Он вручается победителям социалистического соревнования.

Есть и всесоюзная премия его имени, утвержденная министерством. Ежегодно в сентябре Петр Кондратьевич летит в Москву вручать эту премию лауреатам, добившимся выдающихся результатов в труде — таких результатов, каких он добивался каждый год своей жизни.

Наверное, интересно вам узнать, что думает такой человек о переменах, происходящих сегодня в нашей стране? Он не только думает о них — он стоял у истоков революционных преобразований. Он участвовал в выработке планов в самом прямом смысле слова, потому что был делегатом XXVII съезда КПСС.

Вернусь к словам, с которых начал: он был рабочим до революции, он и сегодня остался рабочим. Но какой же огромный смысл в этом звании, как величественно его содержание!

Да простится мне маленькая писательская слабость: хочется мне завершить рассказ своеобразной рамочкой, образным, так сказать, багетом. Тем более что его не надо придумывать. Он есть в жизни моего героя.

Вот одно из тысяч писем, которые получает Петр Кондратьевич. Оно из его родных мест, из того самого района, где и сегодня находится его родная Шарпаевка.

«Мы, комсомольцы средней школы... просим Вас, нашего земляка и организатора первой комсомольской ячейки, приехать к нам в гости...»

Поехал. Встретили его торжественно, шумно, с цветами и пионерскими горнами, чистенькие, наглаженные ребята, девочки в белых фартучках, с большими бантами в косичках.

— Глаза у них блестели, будто я из космоса к ним прилетел. И то сказать: из такого далекого прошлого я пожаловал, что оно, наверное, и в самом деле подальше космоса будет. Смотрел я на них и не скрывал своих стариковских слез. А оттого двоилось у меня все в глазах, расплывалось... И виделись мне мои худые, босые, плохо одетые друзья детства, которые и хлеба-то досыта никогда не ели. Детство... Да было ли оно у нас? И какое же счастье видеть вот этих веселых, уверенных, ничего не боящихся, довольных ребятишек ясноглазых...

Много мы говорим сегодня о досадных, тяжелых своих ошибках, о недоработках, о неумении. Правильно, надо говорить. Но немало ведь и доброго сделано. Немало! Недаром же эти юные глаза смотрят на меня так радостно, так ласково, так весело.

Не случайно...

И ВСЁ БЕЗМЕРНО

Поэзии сегодня трудно. Читатели устали от бесконечного потока малохудожественных воздыханий и ахов, поделок по поводам самым различным и разнообразным, кроме одного — повода реальной жизни, сложных человеческих коллизий, раздумий о нашей трагической эпохе. Лишь изредка в потоке стихотворной продукции попадаются зерна поэзии истинной, звучит живое слово о человеческих судьбах, «о времени и о себе» в публицистических стихах, посвященных самым злободневным проблемам быстротекущего дня. Вот почему много благодарственных писем пришло от читателей, откликнувшихся на публикации Г. Красникова, В. Корнилова, Ю. Кузнецова. Сегодняшняя публикация составлена из стихов, которые редакция получила в последнее время. В одной подборке мы объединили произведения поэтов разных поколений и судеб.

Сергей ОСТРОВОЙ, старейшина нашей поэзии, первая книга его вышла в тридцатых годах, но и сегодня он динамичный, острый, яркий в своих поэтических изысканиях.

Владимир ЖУКОВ, ивановский поэт, участник Великой Отечественной войны, лауреат Государственной премии РСФСР. Публикуя одно его стихотворение, мы ждем его новых произведений.

Владимир БЕЭКМАН, председатель правления Союза писателей Эстонской ССР, депутат Верховного Совета СССР, один из самых активных и творчески плодотворных писателей Эстонии, жизнелюбивая натура и талант которого проявляются в его многогранном творчестве.

Александр ГОВОРОВ представляет более молодое поколение литературы, у него вышло около десяти книг, за его творчеством следят любители поэзии.

Борис ЕВСЕЕВ, музыкант, молодой поэт, живет в Подмосковье. Это первая серьезная публикация в его творческой судьбе.

Итак, наша поэзия при всех ее издержках, о которых мы сегодня говорим во всеуслышание, стремится идти в ногу со временем, старается не только не отставать, но и опережать его шаги, быть «впередсмотрящим».

Сергей ОСТРОВОЙ

Д. Шостаковичу

Я с ним встречался. На неделе.
И вторник был. Или среда.
И кто мог думать в самом деле,
Что где-то рядом, на пределе,
Крадется смертная беда?!

Я с ним встречался. На неделе.
И вторник был. Или среда.

Сейчас не помню. Помню только
Его всегдашний непокой.
Ни фальши не было нисколько.
Ни позы вовсе никакой.

И пальцы, бегавшие нервно
То по лицу, то по руке.
И все бескрайно. Все безмерно.
Все на бессмертном языке.

О, если б знать тогда все это!
А то ведь было — и не раз —
Хулы мучительная мета
И оскорбленья напоказ.

И гром казенных колоколен.
И тучи черные над ним.
И был он весь остроуголен.
И очень трепетно раним.

Он был велик. По самой сути.
Все отдал людям. Каждый лад.
И тот — святой — в блокадной жути
Седьмой симфонии набат.

И то могучее начало,
Что распрямляет людям стать.
О, сколько было роз и терний.
Самосожженья. И труда.
И посреди других губерний
Уезда Мценского звезда.

Вперед, вперед, еще полшага,
А там опять, до той черты...
И безоглядная отвага
На грани детской чистоты.

Пред ним сгибались великаны,
Хоть был смиренен он на вид.
А в глубине бурлят вулканы
И каждый в небо норовит.

И этот звук, и эта тайна,
И эта молния в руке...
И все безмерно. Все бескрайно.
Все на бессмертном языке.

БЕССТРАШИЕ

Гуляло море. Громко. Что есть мочи.
И глохла ночь. Такой стоял содом.
А на рассвете, на исходе ночи,
Пошла волна. Огромная. Как дом.

Все перед нею отступало в страхе.
И рушилось. И билось тяжело.
Она неслась — и на одном замахе
Раскалывала камень, как стекло.

Потом взошла столбом под облаками.
Спружинилась перед лихим броском.
И грянула. И камень лег на камень.
И все равно стал прахом. И песком.

И лишь деревья были непокорны.
Их ветер гнул по самые края.
А не упали. Вот что значат корни
В такой земле великой, как моя.

НАБЛЮДЕНИЕ

Там, где вьюги косяком,—
Ходит птица босиком.

Коготки каленые,
Чуть снежком беленные.

А по снегу прямиком —
Ходит птица босиком.

Свищет лютая зима.
Люди прячутся в дома.

Катит ветер снежный ком.
Ходит птица босиком.

Босиком. По январю.
Вот о чем я говорю!

ЭПИГОН

Подхожу к высокому растенью,
Обхожу его по круговой.
А оно к земле прильнуло тенью
И застыло в дреме неживой.
И стою я рядом, с толку сбитый,
В жгучем окружении лучей,
Кто же он — тот мастер знаменитый,
Срисовавший все до мелочей?!
Тень подробна. В каждом повороте.
Хоть впрямую, хоть наискосок.
Все в ней есть. И только нету плоти.
Веса нету. Ни на волосок.

КОЧЕТ

Вот говорят, что будто черный кочет,
Как запоет, так что-то напророчит.

Погоду ли? Дорогу ли? Судьбу?
Трубит в свою горластую трубу.

И как тут ни суди да ни ряди,
Он знает все, что будет впереди.

Что сбудется? А что промчится мимо?
Что в дом войдет? А что неуловимо?

Надежду принесет? Или беду?
Сейчас ли? Или в будущем году?

И женщина, оставившая след,
Когда-нибудь вернется? Или нет?

Все он предскажет — этот черный
кочет.
Наворожит. Накличет. Напророчит.

Погоду ли? Дорогу ли? Судьбу?
Трубит в свою волшебную трубу.
И только одного не знает кочет —
Чего он сам на этом свете хочет.

Александр ГОВОРОВ

СТРИБОГ

Эй, гони, гони, гони,
Пусть Стрибог мне в уши дует,
Пусть душа моя тоскует
Все немыслимые дни.

Далеко ли путь лежит?
Цель близка али далече?
Дорогой мой человече,
Что там впереди дрожит?

Что-то я не досмотрел.
Вот Стрибог мне в уши дунул.
Я о жизни столько думал,
Что о смерти не успел.

Так сильней, Стрибог, дыши,
Чтобы думы поостыли.
...Мы все гнали, гнали, гнали
Мимо собственной души,

Переполненные горем,
Мимо собственных сердец.
...Эй, гони! А не загоним
Эту тройку наконец?

ДУНЬКУ — В ЕВРОПУ

Слышен голос — тише, ближе,
Вздох вот здесь, на этаже:
— Так давно была в Париже,
Что не верится уже...

Ишь ты...
Тянет холод древний,
Шепчет князь, а может, смерд?
— Мы рождаемся в деревне,
Чтоб в Париже умереть.

Ишь ты... и туда... поди же,
Композитор иль поэт?
Ну, а кто рожден в Париже,
Что ж, ему в деревню? Нет?

Дунькой стонешь,
С детства тонешь
И вовек не воспаришь.
И деревни ты не стоишь,
А туда ж... хочу в Париж!

НА КАРТОШКУ ЖУК НАПАЛ

На картошку жук напал,
Колорадский жук.
Бил его,
Травил,
Сжигал...
Как же он сюда попал,
Колорадский жук?

Не хватает рук, ей-ей,
У мужчин и баб.
И с алхимией своей
Век химерный слаб.
В век трагичных катаклизм
Жук?
С ума сойти...
Вот тебе капитализм,
Господи прости!

САМ УЖЕ ДАВНО СЕДОЙ

Луч мелькнул на этаже.
Ну, а было, было
Так погано на душе —
Мама не звонила.

Думал, стар, устал уже,
Грустно и уныло.
Вдруг сверкнуло на душе —
Мама позвонила.

Радуга среди зимы,
Радуга в метели.
Радуйся!
И рады мы,
Рады в самом деле.

Это ж надо!
День какой!
День...
Велик — день прямо
Сам уже давно седой,
А все... мама... мама...

ВСЁ БЕСКРАЙНО...

Владимир ЖУКОВ

●

Для страховки лучше сплюнь,
чем писать себя в герои,
лишь подкатится июнь
под число двадцать второе:
болью в памяти жива,
дымом тянется по свету
та привядшая трава
золотой макушки лета —
овсяница с клеверком,
уродившимся на диво,
и под знойным ветерком
уходившаяся нива,
полукомплектованность в войсках,
выжиданье на заставах
и в законных отпусках
половина комсостава,
вся страна, к исходу дня
вставшая на бой суровый,
и любимого вождя
приподзнившееся слово.

г. Иваново.

Владимир БЕЭКМАН

ПЕСНЯ ВРЕМЕНИ

Никогда еще не было подобного времени
(как будто время может повторяться).
Столько энергии, сверхскоростей и суеты
впервые на земном шаре выпущено на волю.
Мы носимся и носимся по следам
незавершенных дел.
И даже соловьев снисходительно слушаем
по привычке за послеобеденным кофе
в стереозаписи,
вместо принятого в старину сна,—
настолько мы шагнули вперед.
Мы взрослеем теперь значительно позже,
играя управляемыми на расстоянии игрушками —
на Луне,
и в то же время так редко и неохотно
берем на себя
ответственность за своих жен и детей.
Биологи уже ставят опыты с детьми из реторт.
Скоро все наладится.
Необходимость в нас отпадет.
И тогда ничто уже не помешает нашему
затянувшемуся детству.
А где-то архаические подагрики-короли
во дворцах у электрокаминов
читают вечерами газеты,
и, проснувшись наутро, с тревогой вопрошают:
какая власть, какой дух, какие деньги
правят сегодня?!
А где-то в необжитых суровых краях мужчины,
вскармливая своей кровью комаров
величиною с ноготь,
тащат тяжеленные буровые через плавуны
и торфяники,
чтобы бурить, бурить, до изнеможения бурить
земной шар,
выжимая из него все больше и больше энергии,
вещей, пищи и пыли,
не думая о дряхлых королях и
инфантильных седоголовых,
поскольку эти парни похожи на время,
как, впрочем, и все остальные.
На свое время похожи те, что делают вещи,
слагают слова.
На время похожи поборники братства
и пророки вражды,
но разве в этом вина времени,—
оно ни в чем не ущербно
и в такой же степени в нас,
как мы в нем.
Время нас не выбирает,
и мы не выбираем время.
Но мы можем выбрать
мужчин,
идущих рядом!

СТРАННОЕ

Не добралась еще до небес
тут городская копоть,
здесь по колено вереск есть,
найдется валун по локоть.

Пока еще от гуденья шмелей
над пустошью воздух медный,
и посреди голубичных полей
на болоте березка приметна.

Тысячелистника белый зонт
кисеей прикрыл пригорок,
дождик прошел грибной, и вот
грибы вылезают из норок...

И вся эта радость еще со мной,
и мед разноцветья в ноздрях;
но отчего, как лекарства больной,
города жажду остро?!

●

Словно октябрьским поздним инеем,
просто, как правда,
осыпало волосы каким-то древним дивным
белым прахом.

Осень
несет разноцветные краски
и снова в воспоминаниях
весну возвращает, как в сказке.
Годы
куда-то быстро исчезли,
и осенние ветры с умным видом
в разговор ветвей оголенных влезли.

Заморозки пришли,
и снег скоро будет,
и мороз за пазуху заберется,
но, если жизнь твоя
лето в других пробудит,—
это тепло к тебе вернется.

ЛЕБЕДИ МЕЧТЫ

Дни переполнены ненужной спешкой,
мы вертимся, как белки в колесе,
и речи юбилейные с усмешкой
самодовольно слушаем, как все.

И вновь в карьер срываемся мы с места,
и оправданьем современность на устах,
шальным надеждам и мечтам нет места,
долой сомненья, скорость в головах.

Закралась в нас опасная рутина,
мы кладези газетного свинца,
и цифр неодолимая лавина
ночным кошмаром давит нам сердца.

Но иногда встряхнет, как приступ боли,
счастливый день, и вдруг услышишь звук,
то лебеди мечты зовут на волю
и улетают вдаль,
прощальный сделав круг.

Перевод с эстонского Валерия КРАСНОПОЛЬСКОГО.

Борис ЕВСЕЕВ

●

Отцу и матери

Мягко вычерпана жизнь.
В ледяных лугах плутая,
Улетит, не улетая,
Не дрожавши задрожит
Ваша кроткая, немая,
Сладко спаянная жизнь.

Ваших слав не перечесть.
Ни одной из них не зная,
След и след на глине тают —
43 и 36.

В два весла по облакам,
По вечерним жгучим водам
Проплываете — природа
Затворяется за вами.

«Еще жизни на виток!
Еще света на полмира!»

Как обманутый чеглок,
Укрываете пугливо
От неволи, от недоли
Очи, вымытые солью.

Подадут еще, как в детстве,
Молока по полстакана,
Серебра по полкармана
Нахлестают. Дымный, резкий,
Мокрый, ластящийся, пьяный —
Свет качнулся.

Я не могу продолжать.
За это время вы можете исчезнуть,
Как исчезает строка
Ненастным утром вечером в полночь.

●

Школа Венецианова. Черные руки,
Черные руки, гнутые спины.
Кисти амбарные, щечины грубые
Вместо ланит и иже с ними.

Нет ни прохлад, ни райского щебета,
Ни громовержцев, ни грома, ни рока.
Лишь прострекочет над гибнущим хлебом
птица пустая — художник Сорока.

Сад Академии, сад мой картонный!
Десна гудят от бесчестья и жара,
Жмутся по стенам пни криворотые,
Гости, нахлебники, малые, старые.

Кто в почтари потом, кто в богомазы,
Школу забудут, учителя бросят.
Кто остается? Притрушенный сажей
Самоубийца Григорий Сорока.

Поздно лететь ему, поздно усесться,
Поздно снопом за учителем падать,—
Полною кружкой плеснули под сердце
Всласть разогретым маслом лампадным.

Сад Академии, сад мой картонный!
Мягко тебе зимовать на полянах?
Мягко висеть над снегами, над дровнями
И над деревней голодной и пьяной?

Тот тебя нежит, тот прекословит,
Тот изобразит все ветки до срока,
Лишь не влетит к тебе кроткою строчкой
Мертвая птица, Григорий Сорока.

г. Загорск,
Московская обл.

Месяца месяцами сменялись до нас

НАСЛЕДИЕ

Юрий ЛУШИН,
соб. корр. «Огонька»,
фото автора

Глина. Кругом желтая глина да такого же цвета мелкий песок, больше похожий на пыль. Шальным ветром нанесло ее из пустыни, окружившей Туркестан со всех сторон. Когда-то и сам город весь целиком был сложен из глины. Назывался он в древности Ясы, и возраста его никто в точности не знает, даже историки и археологи, предполагающие, впрочем, что ему никак не меньше пятнадцати столетий. В зеркале прошлых веков можно увидеть расцвет оазиса Отрар, к которому тяготел Ясы, и его закат; развитие ремесел и торговли, языков и народов, бурление человеческих страстей, набеги кочевников, пролитую кровь и отсветы пожаров; возникновение величественных сооружений и обращение их в прах, в глину. Где ты, былое величие Отрара?

Месяца месяцами сменялись до нас,
Мудрецы мудрецами сменялись
до нас.
Эти мертвые камни у нас
под ногами
Прежде были зрачками
пленительных глаз.

Ах, этот непревзойденный Омар Хайям, из мудрецов мудрец. Трогаю ладонью стену, сложенную из старинных глиняных кирпичей, стену древнего мавзолея, и сами собой выплывают из памяти его бессмертные строки. Им почти девять столетий, а они все так же молоды, как в день своего рождения. Колдовство! Но ведь и эти стены, украшенные изразцами, эти голубые купола — тоже колдовство, песнь средневековья...

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, современника Хайяма. Ахмед родился в начале XII века и стал известен как проповедник суфизма — мистико-аскетического направления ислама. Свои проповеди ходжа Ахмед часто облекал в стихи. До наших дней дошел диван «Хикмет» («Премудрость»), написанный вопреки существовавшим традициям не на арабском или персидском языке, а на чагатайском с использованием огузо-кипчакского говора тюрков-кочевников. Может быть, поэтому эти стихи обрели громкую популярность среди простого люда, были ему понятны и их заучивали наизусть. Но еще и потому, что в пору бесконечных разорительных походов, феодальных войн, тяжким бременем ложившихся на плечи народа, призывы суфиста Ахмеда к доброте, самоотречению, послушанию и обещание «райских садов» в обмен на многотерпение, безусловно, имели успех у изнуренных бедствиями людей. Кстати, и феодалам проповедь аскетизма и непротивления судьбе была чрезвычайно выгодна, вот почему поэту-суфисту прощались такие, например, строки:

Муфтий, мулла лишь себя ведь
Ловко умели прославить —
Белое черным представить...
Быть им в аду, в пепле бед!
Жирно кто ел и нечисто,
Кто одевался цветисто,
С трона хвалил за убийство,
Прах он — прахом одет!

Популярность проповедника к концу его жизни так возросла, что его после смерти объявили святым, а к имени добавили приставку Ясави (поскольку жил и похоронен он в Ясах). Естественно, и могила его немедленно превратилась в «святое место», к которому начали стекаться многочисленные паломники. Десятилетиями крепла в народе вера в заступничество святого: к нему шли, прося утешения и защиты. Но вот пришел Тимур, который, разгромив Золотую Орду, задумал грандиозный поход на Китай.

Хитрый и дальновидный политик, он понимал, что для этого должен надежно обеспечить свои тылы и что форпостом на севере должен стать Ясы. Город не только занимал важное стратегическое положение, находясь на стыке караванных путей, но и становился центром обширной торговли, когда в базарные дни пригонялись из степей отары овец и табуны лошадей, караваны, груженные предметами ремесла и роскоши. И всякий вновь прибывший шел поклониться праху «святого» Ахмеда Ясави, всякий молил его о своем. Купец — о том, чтобы продать товар подороже, покупатель — подешевле купить. Нищий — чтобы как-то прожить день, богатый, чтобы множились его стада, грешник страшился ада, праведник мечтал о дороге в рай. На этом-то всеобщем культе святому и решил сыграть Тимур, торжественно совершив обряд зариата (поклонения) праху Ахмеда Ясави и повелев затем воздвигнуть на его могиле мавзолей неслыханных размеров и красоты. В «Книге побед» Тимура сообщалось, что диаметр главного купола — джамаатханы должен равняться 41 гязу (один гяз — 60,6 сантиметра), его окружность — 130 гязам, пролет арки пештака — 30 гязам (18,2 метра, кстати, самый большой пролет подобных сооружений в Средней Азии). Грандиозность мавзолея и богатая отделка его должны были внушить представление о могуществе и несокрушимости империи Тимура, почтение и страх...

Стою перед старинными двустворчатыми дверями, ведущими внутрь мавзолея и украшенными безвестным мастером филигранной резьбой. Впервые увидел я их далеко от Туркестана, на полотне талантливого русского живописца прошлого века Василия Верещагина в Третьяковской галерее. Тогда подумал, что художник, вероятно, несколько приукрасил действительность, внес в нее изрядную долю воображения, что невозможно руке человека вырезать столь прихотливый узор. Тут, в Туркестане, убедился: возможно. Впрочем, время и люди не были снисходительны к памятнику — резьба в нескольких местах повреждена. По этой причине двери теперь защищены стеклом — мера предосторожности, думаю, не обидная для туристов, которым несть числа: то японская речь слышна, то немецкая, английская. Я не верю, естественно, в аллаха, но почему сердце мое заходится от восторга при виде этих куполов, отобравших, кажется, всю синеву у блеклого туркестанского неба? Помню лазанье по темным винтовым лестницам на кровли мавзолея и неожиданное удивление их огромностью, к которым приблизился вплотную. Помню прохладу после жуткого зноя многочисленных внутренних помещений, а в одном из них сагану — надгробие из светло-зеленой яшмы с тонкой резьбой карниза и угловых витых колонок. В центральном зале — казанлыке — некогда стоял ритуальный казан емкостью в 60 ведер, весом в две тонны и диаметром поверху почти в два с половиной метра. Отливал его из сплава семи металлов в селении Карнак неподалеку от Ясы мастер Абу-ал-Азиз из Тавриза (ныне этот котел в Эрмитаже). Вспоминаю, как слушал с улыбкой рассказ экскурсовода о хитрости туркестанских шейхов, объявивших когда-то паломникам, что паломничество в далекую Мекку может быть заменено более близким, но зато троекратным паломничеством к мавзолею Ахмеда Ясави.

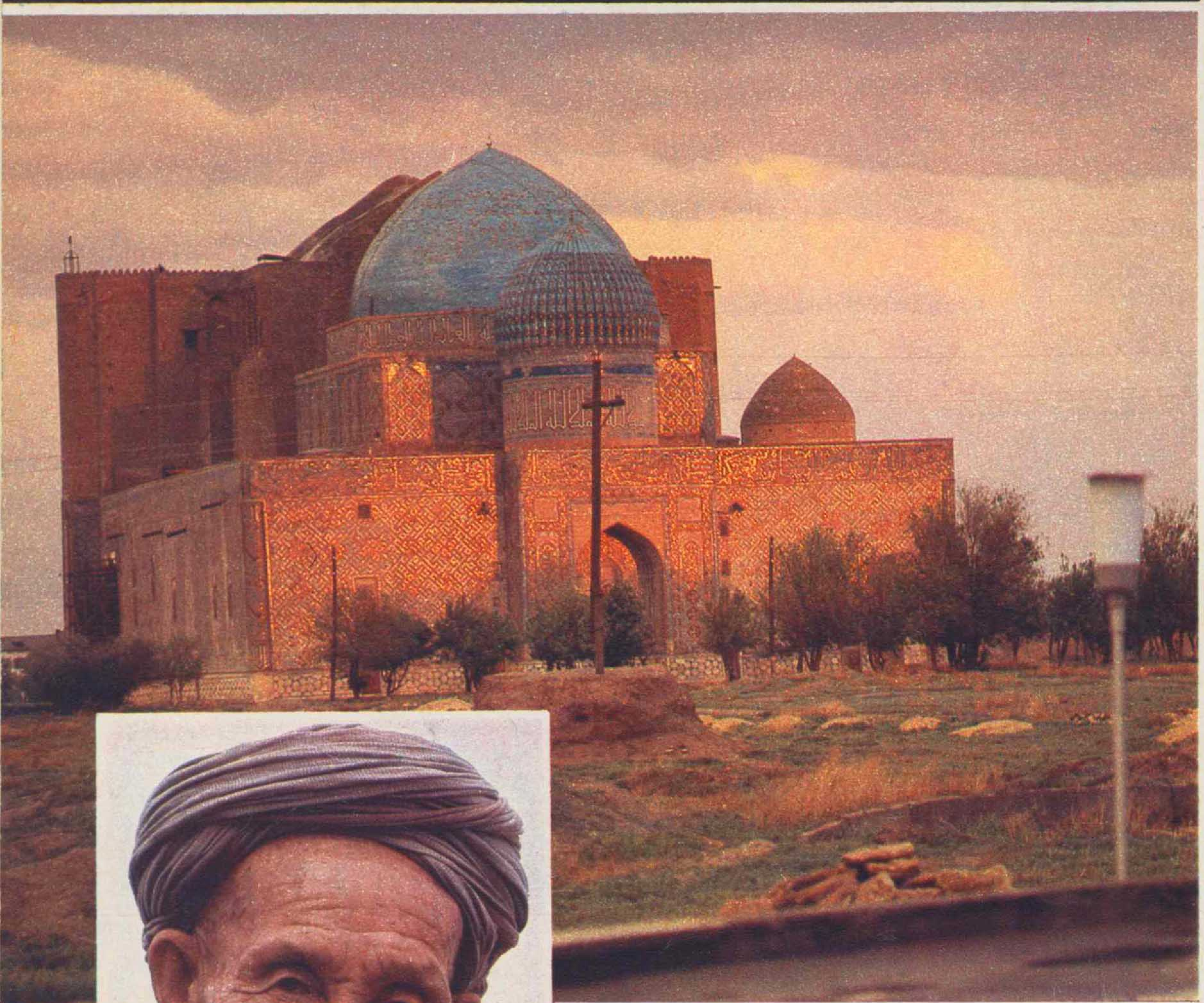
На древних стенах свежие заплаты кирпичной кладки — следы забот реставраторов. Вот уже второй десяток лет ведут они здесь свои работы: восстанавливают и укрепляют стены, купола, изразцы, интерьеры, разыскивают предметы обихода той далекой эпохи. По плану реставрации охранная зона мавзолея Ахмеда Ясави составляет почти семьдесят гектаров, включая древние городища Ясы и Куль-Тюбе. Здесь возникает целый комплекс средневекового зодчества — музей под открытым небом. Уже воссозданы оригинальная восточная баня, классическая жилая усадьба той поры, небольшой мавзолей Рабиги Ханум — дочери знаменитого Улугбека, на очереди интересный полуподземный хильвет, мазары казахских ханов Есима и Аблая, крепостная стена... Да, время не щадило памятник средневековой архитектуры. И может быть, одним из самых трагических моментов в его истории был орудийный обстрел царскими войсками генерала Черняева при штурме Туркестана в прошлом веке. Мавзолей получил тогда одиннадцать пробоин, но выстоял. А кто знает, сколько за пять столетий он выдержал землетрясений, столь щедрых в этой зоне? Кстати, секрет его устойчивости раскрыт только сегодня и заключается в гениальном разделении на несколько самостоятельных блоков, которые покоятся на собственных, отдельных друг от друга фундаментах. Или другое: время с помощью ветра за века накопило на кровле полтора метра наносов песка и пыли — огромная нагрузка, теперь снятая реставраторами.

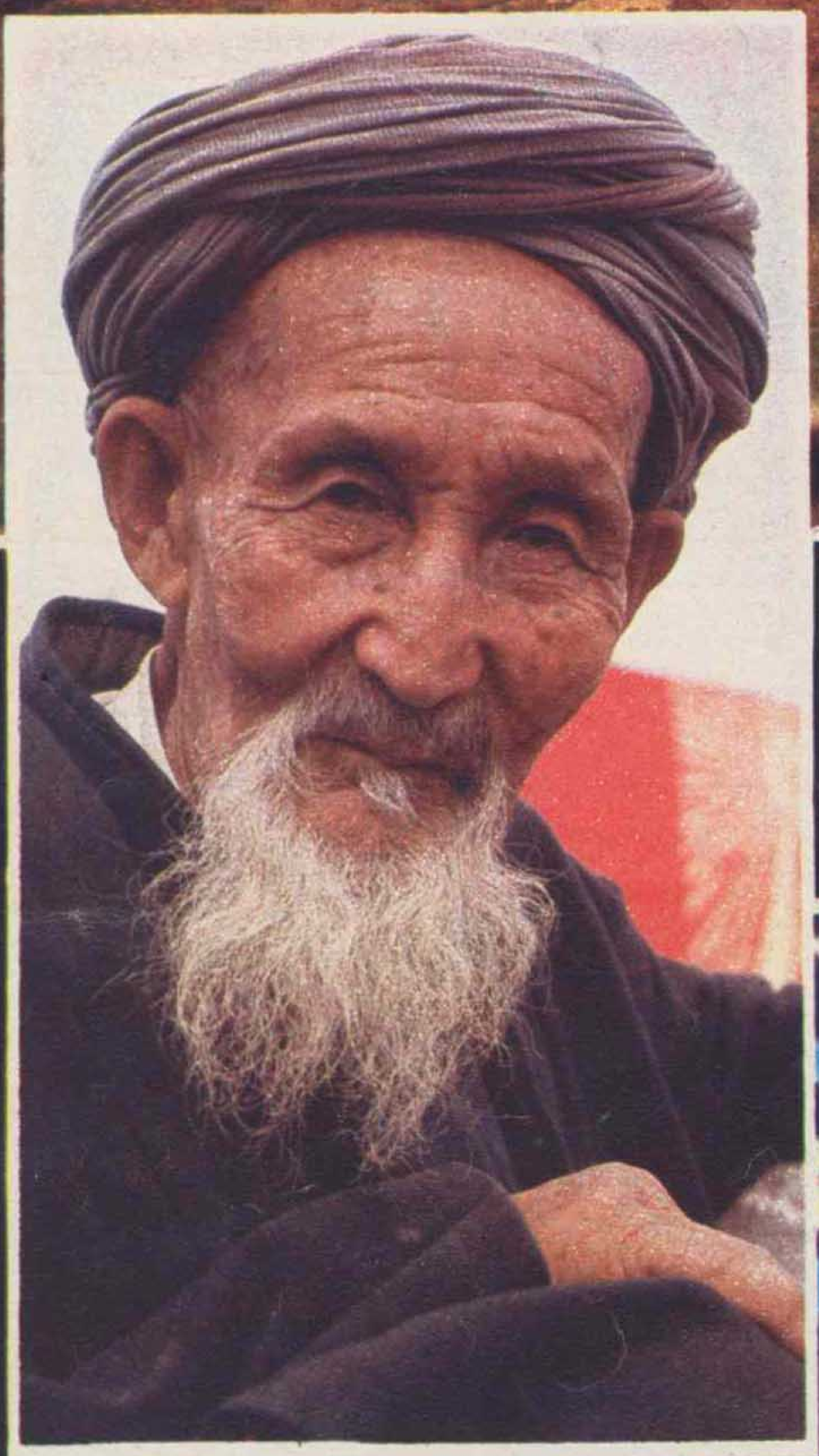
Древние зодчие, строители оставили кое-какие подробности о конструктивных особенностях сооружения, но сохранили в тайне все секреты изготовления цветных глазурей, майолики и кирпича. Раскрыть эти секреты взялась группа казахстанских ученых под руководством кандидата геолого-минералогических наук, заслуженного строителя Казахской ССР Софьи Сулейменовны Такибаевой. Справедливо предположив, что использовалось местное сырье, ученые начали искать подходящую глину в окрестностях Туркестана. Искали два года, исследовали около сорока карьеров — кирпич нужного качества не получался. Вручную месили глину, колдовали с добавками, восстановили древние обжиговые печи и построили аналогичные — не получалось. Гора образцов возле мастерской все увеличивалась, а химико-физический анализ беспристрастно фиксировал все новые неудачи... На тропу успеха ученых вывело старинное предание, по которому изразцы и кирпичи изготавливались в Сауране (за несколько десятков километров) и оттуда передавались на место постройки вереницей стоящих людей. Нам уже не узнать, сколько правды в той легенде, действительно ли существовал живой конвейер, однако сауранская глина превзошла все ожидания — это факт. Кирпич обрел прочность, именно из такого были сложены стены мавзолея, простоявшие пять веков. Сюрпризы ждали реставраторов и при изучении цветных глазурей. Все они имели одинаковый состав, как показал спектральный анализ, но при этом отличались богатейшей палитрой красок и оттенков — от голубого до синего, от салатного до зеленого, от песочного до ярко-желтого. Как это удавалось? Спросить бы Ходжи Хасана из Шираза (имя его выложено синими кирпичиками над наружной нишей северного фасада), который выкладывал изразцовую рубашку в 800 году хиджры. Спросить бы Шемс Абд-ал-Вахаба, другого мастера из Шираза, оставившего свой автограф на шестиугольном изразце барабана малого ребристого купола. Нет, не спросишь, и пришлось обратиться к современным мудрецам из Института ядерной физики АН КазССР. Они провели нейтронно-активационный анализ и подтвердили старую истину — все гениальное просто. Оказалось, что мастера из Шираза для получения различных окрасок и особого блеска глазурей добавляли в сырье золу местных степных растений. Ученые нашли заменитель золы и получили наконец нужную глазурь.

«Месяца месяцами сменялись до нас...» Будут сменяться и после нас — время неостановимо. Нужно только помнить, что его приметы уникальны, и беречь их. Нужно помнить, что и эта примета — мавзолей Ахмеда Ясави — тоже принадлежит корням нашей многонациональной культуры.

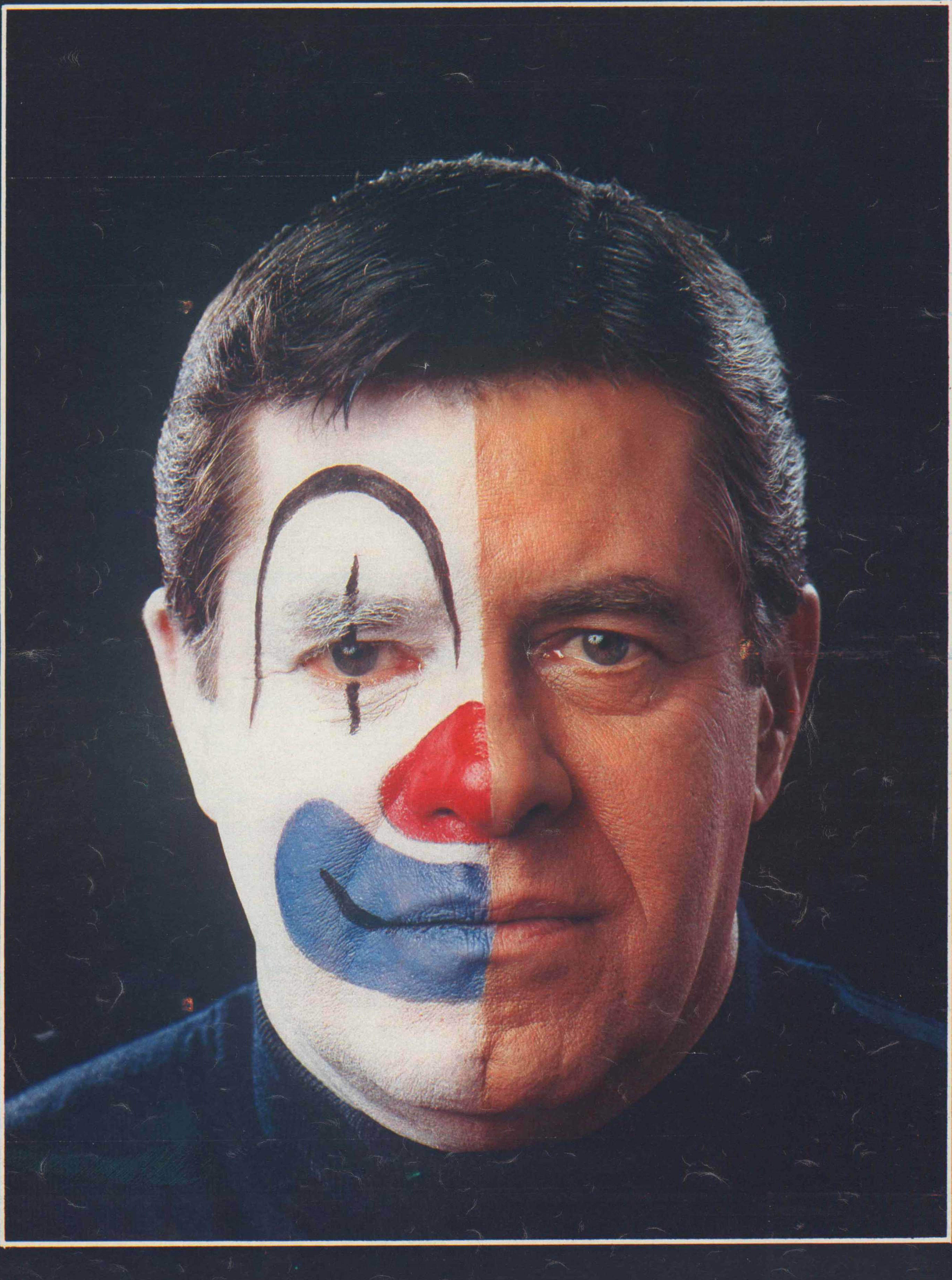
г. Туркестан.

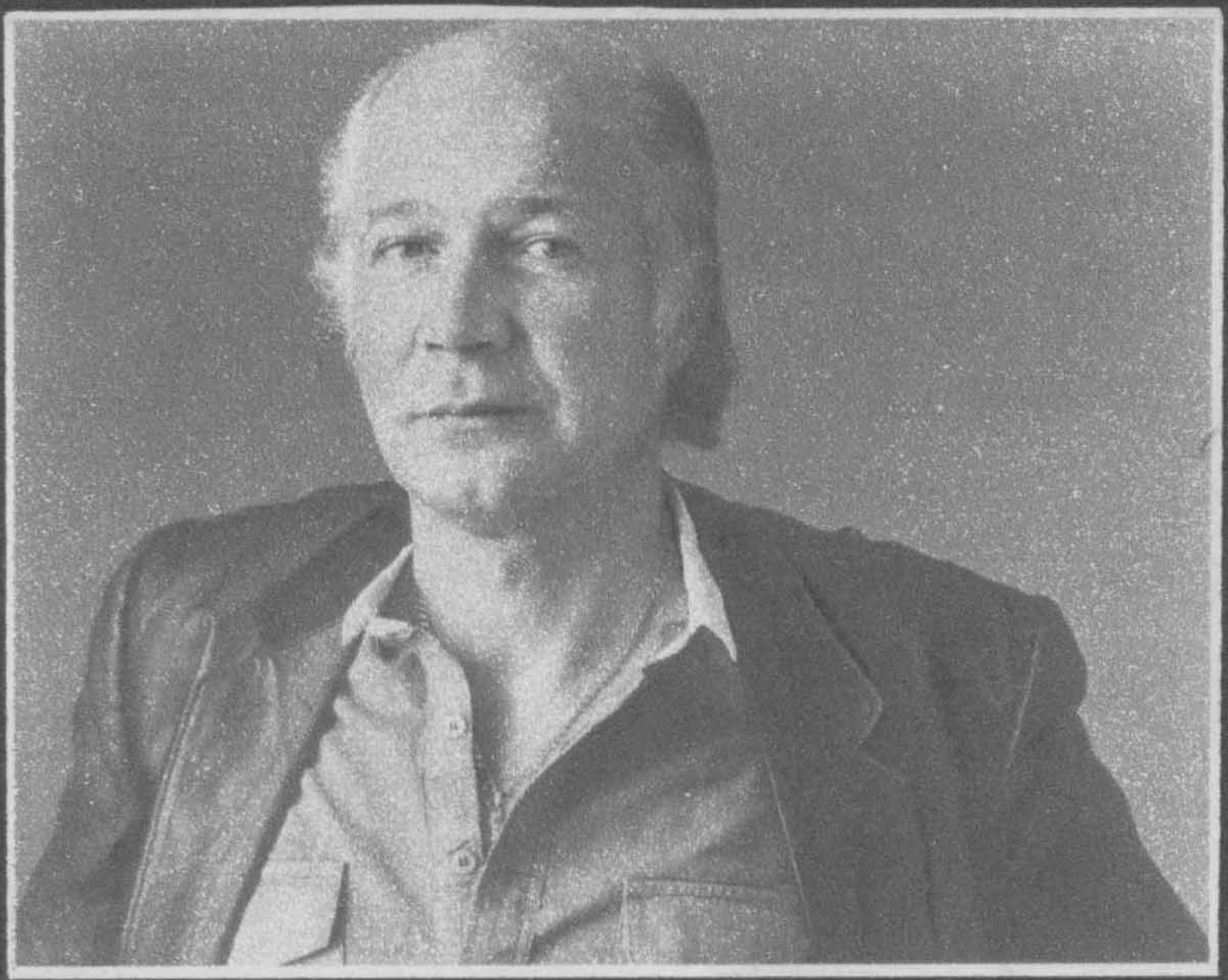
НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА,
НА ДРЕВНЕЙ ТУРКЕСТАНСКОЙ ЗЕМЛЕ,
ВОТ УЖЕ ВТОРОЙ ДЕСЯТОК ЛЕТ
РЕСТАВРАТОРЫ ВОССТАНАВЛИВАЮТ
И УКРЕПЛЯЮТ
СТЕНЫ, КУПОЛА, ИЗРАЗЦЫ,
ИНТЕРЬЕРЫ ВЕЛИКОЛЕПНОГО
МАВЗОЛЕЯ АХМЕДА ЯСАВИ,
НАСЧИТЫВАЮЩЕГО МНОГО СТОЛЕТИЙ.
ЗДЕСЬ ВОЗНИКАЕТ ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС
СРЕДНЕВЕКОВОГО ЗОДЧЕСТВА —
МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ.



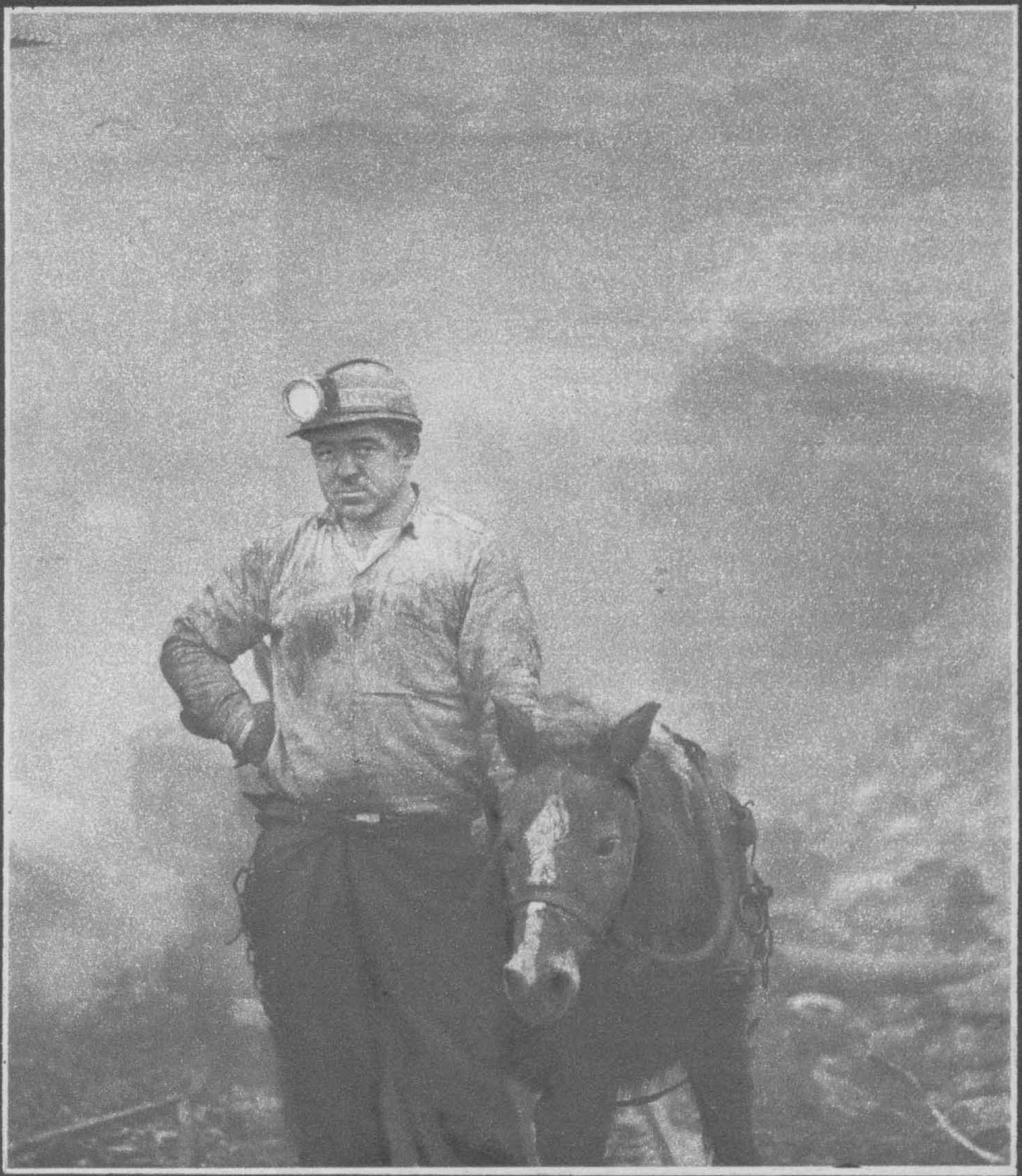


ЭТИ
ФИЛИГРАННОЙ РЕЗЬБЫ ДВЕРИ
МОЖНО УВИДЕТЬ И НА КАРТИНЕ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ РУССКОГО ХУДОЖНИКА
ВЕРЕЩАГИНА.





СНИМАЕТ ЭДДИ АДАМС



● Комик Джерри Луис.

● Шахтер из Западной Виргинии.

● Статуя Свободы. Вид из порта Нью-Йорка.

Эдди Адамс — одно из самых известных имен современной американской журналистики, а в фотографии он определенно один из знаменитейших. Лауреат высшей в США Пулитцеровской

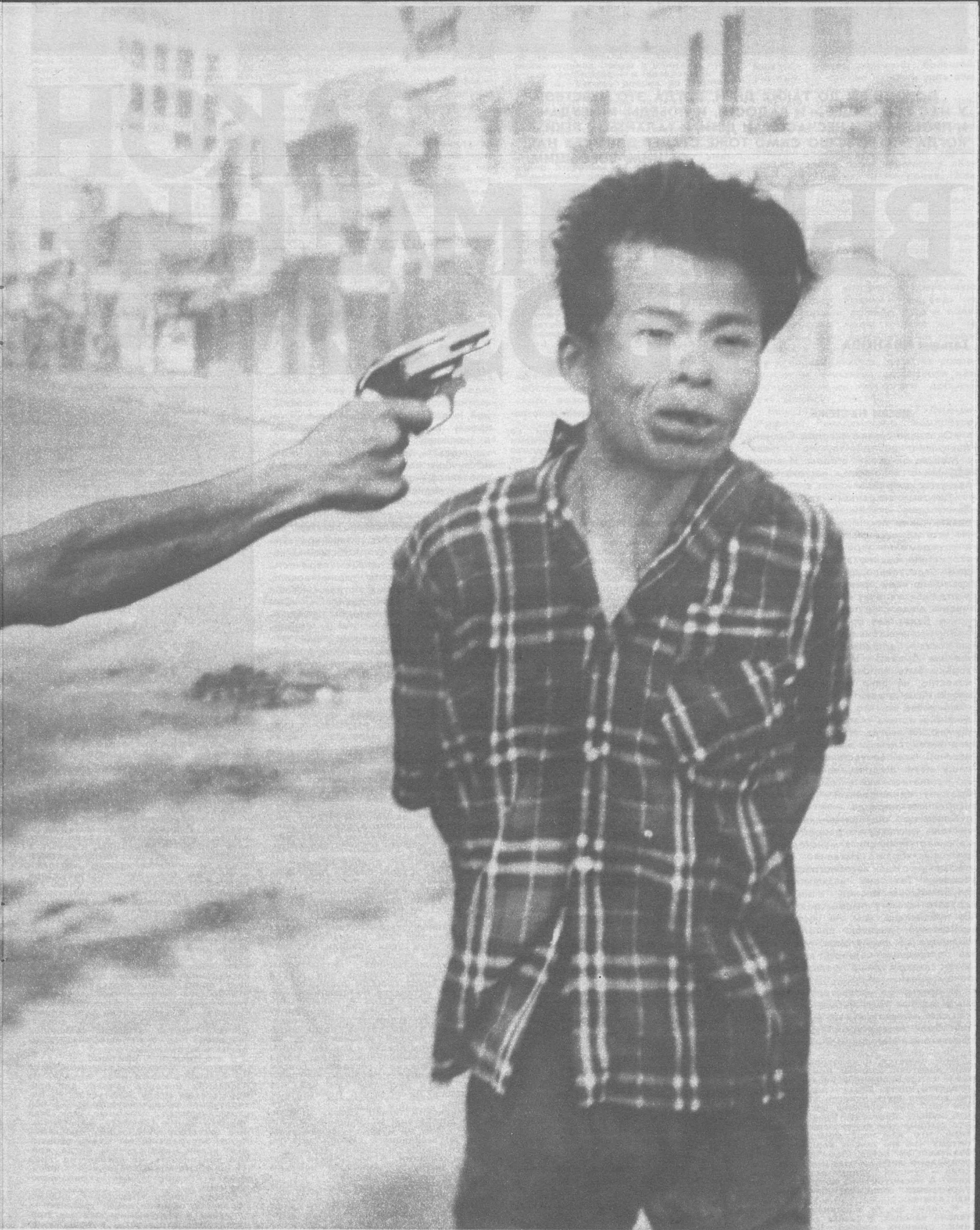
премии, четырежды отмечавшийся как лучший фотограф года в своей стране, обладатель более чем пятисот национальных и международных отличий за свои фотографии, Эдди Адамс работает сегодня как специальный корреспондент журнала «Пэрейд» — издания самого массового в США и, возможно, в мире (тираж этого еженедельника приближается к 32 миллионам экземпляров). Адамс вместе с 50 западными фотографами участвовал в съемке для фотоальбома «Один день из жизни СССР». Передавая «Огоньку» подборку своих фотографий, Адамс сказал, что давно уже мечтал встретиться с советскими читателями и зрителями именно так — на уровне лучших своих работ.

Некоторые из этих фото вам известны (в частности, обошедшая весь мир фотография казни вьетнамского патриота, лично застреленного одним из бывших руководителей марионеточной южновьетнамской администрации), некоторые вы увидите впервые.

Острый и заинтересованный взгляд Эдди Адамса не может не волновать...

КАЗНЬ В САЙГОНЕ (1968. ГЕНЕРАЛ НГУЕН НГО ЛОАН УБИВАЕТ ВЬЕТКОНГОВЦА).

ЛУИ АРМСТРОНГ В НОВОМ ОРЛЕАНЕ.



ДОЖИТЬ БЫ ДО ТАКИХ ДНЕЙ, КОГДА ЭТО ЧУВСТВО — У НАС ВСЕ ОБЩЕЕ — И РАДОСТИ, И ПОБЕДЫ, И НЕУДАЧИ, И ПРОБЛЕМЫ, И НЕСЧАСТЬЯ, И ДЕТИ, И ТАЛАНТЫ, И РЕКИ,— КОГДА ЭТО ЧУВСТВО САМО ТОЖЕ СТАНЕТ ДЛЯ ВСЕХ НАС ОБЩИМ, ВСЕОБЩИМ.

ЗАКОН ВЫПРЯМЛЕНИЯ ГВОЗДЯ

Татьяна ИВАНОВА

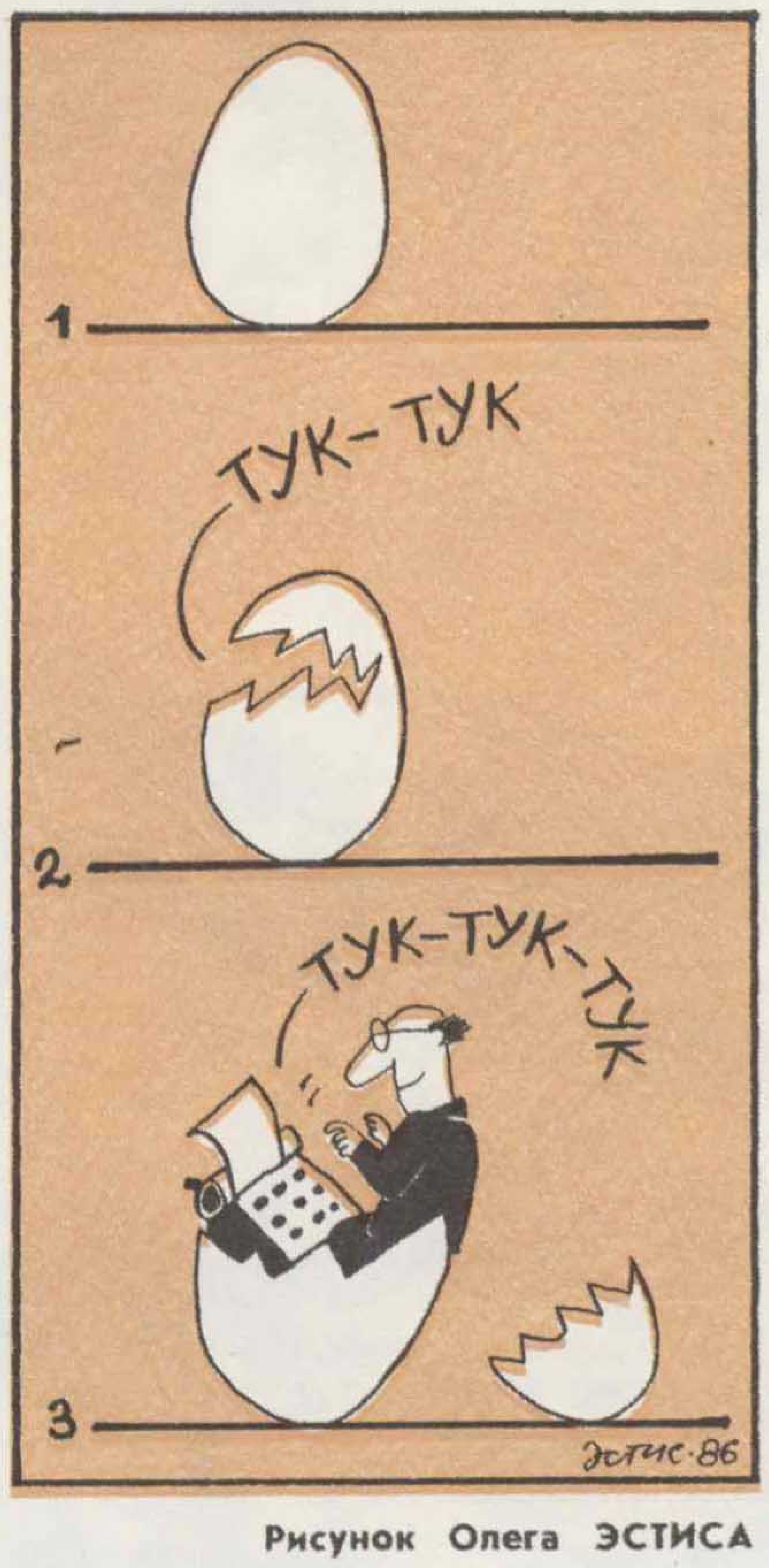


Рисунок Олега ЭСТИСА

ДВЕРИ НАСТЕЖЬ

«Оказывается, что в город Сидней, Австралия, доходит то, что я пишу в Москве за своим столом. И вновь ощущение сквозняка, настежь распахнутых дверей...»

«Дверям закрытым — грош цена. Замку цена — копейка!» Сладко распевать такие песни смолоду, хором. Но есть же, есть счастливцы, которые и с годами не утрачивают чувство, что истина именно здесь, где-то рядом: надо только друг с другом открыто, по всей правде, без тени хитрости, как на духу — и тогда невозможно людям не понять друг друга, и все будут как братья...

Этим-то счастливцам как раз больше всех и достается. Ох, и горько же им бывает! Потому что очень горько быть непонятым. А нам, как известно, не дано предугадать, как слово наше отзовется.

Но разве то, что нам отлично известно, и истина — это одно и то же?.. Думаю, не всегда. И перед нами как раз такой случай: нам отлично известно, что сочувствие дается не чаще и не щедрее, чем благодать, но истина все-таки в том, что путь к братству единственный — открытость, искренность, правда.

Слова про ощущение сквозняка и настежь распахнутых дверей я выписала из публикации в майском номере «Октября». Наталия Ильина. «Встречи. Из автобиографической прозы». Так она называется. Раз опубликована Ильина, я ни с чего другого не могу начать свой обзор... Ее публикации, увы, не часты.

Пожалуй, выросло поколение, не знающее ее фельетонов. Между тем за прошедшую четверть века никто у нас литературных фельетонов на таком уровне не писал.

И другие ее фельетоны — на самые разные темы — были в лучшем смысле литературны, а еще точнее, они были литературой. Где сборник фельетонов Наталии Ильиной?

Мне кажется, к некоторым писателям издатели должны приходить чаще — с предложением издать или переиздать книгу. Ведь у издателей тоже должно быть чувство времени, не так ли? Они обязаны догадываться, что нужно обществу. Разве не ясно, что сегодня нам остро необходима сатира, что нам необходимо смеяться, потому что мы полны решимости избавиться от всего, что нам мешает нормально жить? Разве не ясно, что смех — лучший ускоритель в таком деле? А посмотрите-ка вокруг: как мы удручающе серьезны, как пафосны, как важны...

И ладно бы уж в случаях действительно важных, в самом деле серьезных, стоящих пафоса. Но нам ведь ничего не стоит надуть щеки и по поводу выеденного яйца.

Почему практически исчезли со страниц печати фельетоны Наталии Ильиной? Да скорее всего потому, что у нее их никто не просил, никто от нее их не ждал — спроса не было.

Не было у нас спроса на плоды редкого дара — вот как мы умеем быть расточительны...

Когда-то в редакцию, где я работала, из маленького города пришло письмо. Читатель спрашивал, куда из магазинов исчезли пикули. Планерка долго вспоминала, что такое пикули... Может, и сейчас на планерке в какой-нибудь редакции молодые журналисты будут долго вспоминать, что такое литературный фельетон...

...Возьмите «Октябрь» и прочтите «Встречи». Вы найдете здесь пищу уму, удовлетворение эстетическому голоду, потребности в новых знаниях; вы найдете замечательную простоту — мудрую; вы насладитесь подлинной культурой языка, воспитанностью чувств; вы будете пленены искренностью, счастливы доверием, с которым к вам обращаются. И если вдруг для вас эта встреча с писательницей первая, я не сомневаюсь, что вам захочется прочесть все, что она написала.

Знаете, ведь людей, умеющих быть открытыми, откровенными на миру, на свете не так и много. Но до сердец, причем до самых далеких сердец, умеют достучаться именно они. Почему книгу шлют из Сан-Франциско в Сидней, книгу, написанную за московским письменным столом? Потому что человек, говорящий просто и прямо о жизни, озабоченный только тем, чтобы не солгать, а вовсе не тем, что о нем подумают или скажут, будет понят всюду. Человечность всем необходима...

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО

Год назад в Палермо была встреча писателей Италии, США, СССР и Болгарии на тему «Литература, традиции и ценности». Все были серьезны, а Джон Саймон острил. При этом он, конечно, сказал все, что считал нужным, и слушатели запоминали его слова легко и с удовольствием. Он говорил о том, что литература похожа на великий пир, где участникам требуется лишь нож эстетики и вилка этики. И, разумеется, здравый смысл...

Шутки мы любим. Их, между прочим, любил и основоположник нашего учения, Карл Маркс. Вот как, например, писал он об одном очень серьезном предмете: «Стоимость товаров тем отличается от вдовицы Куикли, что не знаешь, как за нее взяться».

У русских же, на русском языке, объединившем народы нашей страны, юмор непременен, великих людей, этим чувством обделенных, попросту никогда не было. Вспомним и фольклор, и анекдоты (фольклор, так сказать, неофициальный), и своих лучших поэтов, и своих лучших прозаиков — да кого угодно.

В последнее время мы, надо сказать, смеяться отвыкли. То есть с неофициальным-то фольклором у нас всегда все было в порядке, тут нас не собьешь. А вот в литературе если кто и шутил... А кто, собственно говоря, шутил? По пальцам перечесть. Хмурая серьезность торжествовала. «В настоящее время, когда...», «Наше время столь величественно...», «Сам шутить не люблю и людям не позволю...» Фразы-то все эти из старинных, столетней давности, книг. Но времена бывают похожи. Когда жизнь стоит, как вода в болоте, сатирики все по углам, юмористы сидят, притруснувшись: «В настоящее время, когда...»

Не пора ли им сейчас на свет божий?..

В мартовском номере «Дальнего Востока» Николай Наволочкин написал деревенскую повесть «После дождичка... в среду». Взгляд автора полон не только любви и сочувствия к своим героям, но и иронии. Весело читать, хорошо.

В «Урале» за май посмотрите рассказ Юлии Кокошко «Последний день царствования самозванца Андрея Юрьевича, или кое-что о свойствах лазурной мебели».

Дело в том, что Андрей Юрьевич на месяц взял в руки бразды правления в отделе — настоящий начальник уехал в отпуск. Он издает приказы, самозванец, такие замечательные приказы... Будет ли от них толк? «Справедливость всегда торжествует,— убежден главный герой.— Так говорила мне в детстве няня Арина Родионовна. И в этом меня убедили в школе на примере бессмертных произведений художественной литературы». «Вы смешны,— говорит ему в ухо Красная Труба голосом ампирной дамы.— Все останется по-прежнему, так, будто вас и не было. В понедельник явится Федор Никитич и вышвырнет вас вон — со всеми вашими нововведениями». Я так хотела, когда читала, чтобы Андрей Юрьевич все же усидел в этом кресле и все его приказы были бы выполнены... И вот, когда до конца рассказа осталось совсем немного, вдруг... Неужели вы подумали, что я расскажу вам, чем все кончилось? Да ни за что. Почитайте — узнаете.

Апрельский номер «Дона» опубликовал фельетоны М. Зощенко. А «Аврора» в том же месяце — роман-фельетон М. Жванецкого «Жизнь моя, побудь со мной!». «Говорили: это нельзя читать глазами. А чем?.. Если будет трудно читаться, мой голос поможет вам, как вы помогали мне».

С удовольствием жду продолжения. Целый роман!

Последние номера журналов дают и некоторые другие поводы для юмора, помимо, так сказать, законных юмористических жанров. В апрельском номере «Молодой гвардии», например, кроме стихов В. Фирсова, опубликован гимн поэту пера И. Шевелевой. «Высшим проявлением творчества Фирсова стало запечатленное им в слове патриотическое чувство, чувство Родины. Развиваясь самобытно, оно вобрало в себя вековую народную традицию, слилось с чувством советской государственности, с коммунистическими идеалами века...» Вы спросите: что же здесь смешного? Ничего, конечно, слова все высокие... Удивительно только, как до смешного бессильно может быть у нас общественное мнение. Многие читающие люди знают: не было в последние два года трибун, с которых писатели и критики не призывали бы друг друга покончить с комплиментарностью в критике, прекратить по случаю писательских дней рожденья воскурение фимиамов, не возводить друг друга в ранг классиков. Только что прошел писательский пленум, где опять шла речь о том же. Каков результат? И. Шевелева сравнивает Фирсова с Шекспиром. А знаете, сколько места отведено «Молодой гвардией» под комплимент поэту? Семнадцать журнальных полос!

И это, простите, критика?

Все-таки, пожалуй, критикой надо бы называть что-то иное, правда? Из последних номеров приведу для примера статью Игоря Золотусского («Литературное обозрение» № 4) — в ней осмысливаются коренные, или, как принято нынче говорить, магистральные литературоведческие проблемы. И это тот редкий, тот давно ожидаемый всеми нами случай, когда критик, так сказать, не взирает на лица («лица» отягощены званиями, наградами и высоким общественным положением).

Второй номер «Простора», видимо, попав под обаяние новой традиции — печатать незаслуженно забытые произведения, открывать незаслуженно закрытые имена, опубликовал рас-

сказ В. Правдухина. Вся публикация прошла под заголовком «Талантливейший на редкость был человек». В доказательство редкой талантливости приведен текст «Телеграфист Селедевкин», по-моему, крайне слабый и подражательный, да еще и написанный наспех, и до того небрежно, что жена главного героя называется то Дуня, то Катя. Восторг редакции, видимо, был так велик, что Дуню-Катю не стали править, оставили, как есть...

Такого рода публикации, естественно, вызывают не самые лучшие чувства. Но ведь не о них говорят и пишут те, кто считает, что «публикацией забытых имен», рукописей, замороженных на долгие годы в редакционных столах и писательских архивах, некоторые журналы слишком увлекаются. Не о них — они и не на самом виду. Видимо, говорят все-таки о романах А. Бека и А. Рыбакова, о В. Дудинцеве и М. Булгакове, о Н. Гумилеве и В. Ходасевиче, о В. Набокове и Б. Пастернаке... Не знаю, как вам, товарищи читатели, а мне бывает особенно неприятно, когда об «ограничении», «сокращении» и прочих действиях запретительного свойства я читаю у литераторов, облеченных учеными степенями, да призванных воспитывать литературную молодежь. В последнее время эта «тема» особенно удается горьковскому профессору филологии В. Баранову, в печати и на телевидении весьма преуспевшему в своем «охранительном» рвении.

Иные писатели резко протестуют против забытых рукописей, может быть, и почти подсознательно, инстинктивно: в одном журнале с романом Шукшина «Любавины» или «Котлованом» А. Платонова нельзя же печатать вялую, малохудожественную прозу. Люди будут сравнивать, посмеиваться... После поэмы Твардовского «По праву памяти» и «Реквиема» А. Ахматовой невозможно ведь именовать гражданской лирикой холодные, демагогические стишки — задан, и давно, иной уровень гражданственности. Так что писателей и поэтов я еще могу понять.

Но филологов... Давно, видно, не перечитывали они Салтыкова-Щедрина, «Дневник провинциала в Петербурге», давно забыли, как в университетском студенчестве потешались над проектом «о расстрелянии»!

А надо бы восстановить в памяти, надо бы. Потому что вместе с этим воспоминанием очнется и еще одна, давно известная мысль: все-таки хлопотать о запрещении, об ограничении, о сокращении всегда у нас было кому — и без литераторов, без ученых-филологов. В среде же литераторов, писателей и поэтов, среди ученых-филологов благородными считались всегда хлопоты прямо противоположного толка: о дозволении, о расширении, о разрешении.

По-моему, это прекрасно, что мартовский номер журнала «Даугава» публикует стихи Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой с большой вступительной статьей — рассказом о жизни матери Марии. А мартовский номер «Знамени» — стихи О. Берггольц и слово В. Лакшина о ней — произведение, имеющее самостоятельное литературное значение. И «Знамя» в июне — «Собачье сердце» М. Булгакова — опять с предисловием В. Лакшина и с послесловием М. Чудаковой, дающим о произведении, кажется, всю возможную информацию.

Когда читаешь такого рода публикации, думаешь: неужели у кого-то поднимется рука, повернется язык?.. Но поднимается, поворачивается... Что тут сказать?

СНАРУЖИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ВНУТРИ

Помните, речь шла у нас о романе В. Дудинцева «Белые одежды»? Я оцениваю это произведение более чем высоко. Но предполагала, что не все будут со мной согласны. И просила читателей высказать свои мнения. Процитирую письмо Н. С. Мануйленко из города Киселевска: «Прекрасный, мужественный, современный роман».

В мартовском номере «Литературного обозрения» есть маленький портрет Владимира Дмитриевича Дудинцева и его рассказ о том, как он писал свою книгу. Оказывается, после выхода в свет «Не хлебом единым» к нему потоком шли письма, дневники, жизнеописания. Писали ученые, мыслители, мудрецы. Книга рождалась из этого встречного потока — от читателей к писателю. Дудинцев пишет, что всегда симпатизировал и сочувствовал хорошему, честному, одаренному человеку, чьи помыслы и поступки направлены на созидание. И всегда его душа активно не принимала тех, кто паразитирует на чужом труде, беззастенчиво пользуется бескорыстием и прекрасной рассеянностью творца, не замечающего, что его уже оседлали, что на нем уже едут.

«О чем я мечтаю?— пишет Дудинцев.— Мне хотелось бы вооружить хорошего человека безошибочными критериями для распознавания добра и зла...»

Где-то в европейских журналах уже мелькнуло сообщение, что мы тут зачитываемся романом Дудинцева — очередным произведением без положительного героя. Ошибка! Причем большая ошибка.

То есть в том, что зачитываемся, ошибки как раз нет. А вот Федор Дежкин — настоящий положительный, а если хотите, то даже и идеальный герой. Коммунист. Борец. Умница. Интеллигент. Пример для подражания — хотя нужно слишком много ума и мужества, чтобы быть на него похожим. Пример для подражания — хотя времена изменились, а новое дело, только что добытая истина с огромным трудом побеждают рутину и косность, привычки и обыкновенные человеческие представления, бюрократические преграды и общественное мнение. Наконец, это пример подражания не только для нас: наша рутина, привычки, бюрократия и общественные предрассудки первенства на мировом уровне все-таки не завоевали. Это говорила еще наша общая няня Арина Родионовна, и о том же я сужу по лучшим произведениям современной европейской и американской литературы.

Так что не только нас, но и европейцев, и американцев — да всех, как выражается Дудинцев, нормальных, то есть стоящих на стороне добра людей Федор Дежкин — герой русского советского романа — способен вдохновить, воодушевить, обнадежить. В этом смысле роман вполне для нашей литературы традиционен. А герой — для жизни типичен.

Еще в феврале в «Литературном обозрении» был опубликован «круглый стол» «Освоение Севера и культура». Материал любопытный. Но я сейчас вспомнила о нем в связи с одной историей, рассказанной в ходе заседания академиком Н. Шило. Он назвал имя одного замечательного человека — Федора Петровича Ефимова и просил запомнить его. Почему? Потому что в 1957 году, после реабилитации П. А. Ойунского — основоположника якутской советской литературы,— было решено издать полное собрание его сочинений. Ни в одной библиотеке не сохранилось ни единой книги Ойунского, не было и его рукописей. Стали искать в личных библиотеках — безуспешно. И вот тогда пришел Федор Петрович Ефимов и поставил на стол большую сумку. Это были корректорские оттиски собрания сочинений Ойунского, готовившегося в 1938 году к изданию в Москве. Писателя арестовали, набор рассыпали, а оттиски сожгли. Остался единственный экземпляр, сохраненный Ефимовым, работником издательства. Из Москвы он увез их в Якутск, заколотил в ящик, спрятал под пол в амбаре. Ушел на войну, отвоевал с первого до последнего дня, вернулся и все хранил свою тайну — почти двадцать лет. «Как хорошо, что есть такие люди,— сказал тогда академик.— Низкий поклон им».

Вы обратили внимание, что Ефимов — тезка Дежкина. И большая его сумка похожа на тяжелый рюкзак, в котором хранил свою тайну герой романа «Белые одежды». Так пожимают друг другу руки герои жизни и литературные герои...

К сожалению, далеко не всегда они — похожие друг на друга, как близнецы — могут пожать друг другу руки. Бывает, что человек и знать не знает, что о нем написана книга.

А. Сегень написал свой роман объемом в пятьсот страниц, когда ему было двадцать пять лет. Я этот роман не читала. Читали его только работники отделов прозы в каких-то «толстых» журналах — и возвращали автору. А. Сегень добрел до журнала «Литературная учеба». Здесь романы по пятьсот страниц не печатают. Но отрывки, несколько глав — дали.

Герой этого неопубликованного романа родился в день, когда Гагарин полетел в космос. А семья у новорожденного была такая: мать-пропойца, отец в тюрьме, старший брат умственно отсталый да бабка, на Арину Родионовну даже отдаленно не похожая. Трагедии разыгрываются одна за другой. И узнаются легко — таких трагедий тысячи вокруг. А доброта, чуткость, красота — явление не такое уж и частое. (Впрочем, может быть, это только в наших районах-новостройках, в наших одинаковых домах, на наших улицах, продутых всеми ветрами,— у вас, может быть, по-другому. Недавно один пожилой человек, прочитавший «Дети Арбата» в «Дружбе народов», сказал же мне: «Все тогда было по-другому». Я ответила ему: «У вас все было, наверно, правда, по-другому, а вот у Саши, у его мамы, у детей Арбата, у тысяч и тысяч их сограждан — у них все было именно так».)

Своего мальчика А. Сегень доращивает до студенчества, до своего собственного, по-видимому, авторского возраста. Чудесный выходит юноша. Как ему удалось сберечься? Видимо, надо прочитать все пятьсот страниц, чтобы ответить. Я бы с удовольствием это сделала, но негде.

А герои Сегеня вряд ли будут читать книгу о себе и себе подобных. Они не читают...

Но ведь среди них, может, растет такой же мальчик, изо всех сил стремящийся к чистой, честной, нормальной человеческой жизни. И он — прочтет.

ВЗАЙМЫ У ДЕТЕЙ

Что взяли мы взаймы у наших детей? Все, что унаследовали от наших отцов. Жизнь. Язык, на котором говорим и без которого и не были бы людьми. Леса и рощи, реки, озера, речки и ручьи. Дороги, ведущие из города в город и дальше — к другим странам и другим народам... Разве не обязаны мы оставить нашим детям хотя бы не меньше — вернуть долг?..

Это рассуждение взято из статьи Миервалдиса Бирзе «Липы цвели тихо», опубликованной в мартовском номере журнала «Даугава». Бывает публицистика, которую читаешь то смеясь, то плача. Редко, но бывает. В прошлый раз мы говорили с вами о работах Анатолия Стреляного — они из той же серии.

Что такое написал М. Бирзе (и перевел В. Михайлов)? Статью на экологическую тему? Но это не похоже на статью... Может быть, рассказ-воспоминание? Да нет, рассказы обычно не обращаются к нам так прямо, не взывают, не корят, не смеются над нами... В слове «эссе» есть нечто эстетское, даже в самом его звуке. Но у Бирзе, в его трезвом, каком-то очень ладном и спокойном уме нет и намека на эстетство.

Тот прекрасный (и нечастый) случай, когда озабоченное, взволнованное, печальное перо совсем не стремится еще и красоваться, а хочет только передать нам истину. Слышали ли вы когда-нибудь о законе выпрямления кривого гвоздя? Может быть, уже и не слышали, с полуслова и не поймете, о чем идет речь. Ну, скажем, если вам всего-то лет тридцать и вы выросли среди людей, никогда не распрямлявших кривые гвозди.

А вообще это противоестественно — выбросить то, что в виде руды было с большими усилиями добыто из-под земли, перевезено по дорогам, десять раз разгружено и перегружено, расплавлено, выковано. Как огромен овеществленный труд...

Путешествие с М. Бирзе по Латвии — не единственное путешествие, которое можно совершить, читая журналы.

В апрельском номере «Молодой гвардии» началась публикация путевого очерка Альберта Семина «Шестнадцать дней в Китае». Интерес к жизни, быту, образу мыслей и системе ценностей восточного соседа, мне кажется, у нас довольно большой. Потому я и считаю нужным дать вам адрес публикации.

Кстати, здесь же публикуется трагедия В. Пикуля «Каторга». Впрочем, если вам трудно добыть «Молодую гвардию», а проще «Дальний Восток» — знайте, что, как ни удивительно, здесь тоже печатается «Каторга» В. Пикуля, та же самая... Как уж могло это получиться — ума не приложу. Но вернемся к путешествиям.

В апреле «Литературная Грузия» опубликовала рассказ Джансуга Чарквиани о его поездке в Италию с ансамблем песни и танца Грузии «Рустави». Приметный материал!

Вот мысль, которой я сочувствую всей душой: «Родина — это ведь не только горы и долины, леса и поля. Родина — это люди, и если мы не поможем друг другу, если не станем плечом к плечу с теми, кто сеет истину и справедливость, если не сохраним и не умножим дарованное нам природой,— мы немногого добьемся». Джансуг, спасибо...

Венеция, Верона, Лидо, Луго-ди-Равенна, Рипалимосано, Кампобасо, Касаджове... Великие города и маленькие итальянские деревеньки рукоплещут нашим певцам и танцорам. Фейерверки в нашу честь! Молодая итальянка записывает грузинские имена, потому что грузинским именем решила назвать своего будущего ребенка. Итальянцы поднимают на руки певца, и так он допевает песню. Глубокая ночь, а зрители и слушатели не расходятся по домам, они хотят еще песен, еще плясок и танцев. А у наших парней уже кровоточат кончики пальцев на ногах, и кому-то попала искра в глаз, когда в танце скрестились мечи, дело едва не кончилось печально... Но мы все пели и пели, все танцевали, потому что хотели, чтобы наше искусство служило как можно лучше людскому братству...

Я правильно говорю, товарищ Джансуг, «мы», «наше»? Ведь «Рустави» — ваш ансамбль, грузинский... Я, однако, уверена, что молодая итальянка записывала на память советские имена, правда, товарищ Джансуг? Ведь у нас общее Отечество. И когда мы любуемся лицами писательниц и поэтов (именно так: женщины — прозаики, мужчины — поэты) в майском, молодежном номере журнала «Литва литературная», мы думаем, что у нас выросли очень хорошие дети. Когда в мартовской «Юности» плачем над документальным рассказом Николая Черкашина о том, как мать разыскивала погибшего на «Адмирале Нахимове» сына, знаем, что это наша общая трагедия. Когда в апрельском номере «Волги» читаем роман Григория Коновалова «Воля», понимаем, что это наша общая история. Когда в июньском номере «Знамени» читаем хороший рассказ Максима Коробейникова «Я тогда тебя забуду», осознаем, что это наша общая память.

Дожить бы до таких дней, когда это чувство — у нас все общее — и радости, и победы, и неудачи, и проблемы, и несчастья, и дети, и таланты, и реки,— когда это чувство само тоже станет для всех нас общим, всеобщим. И делаем ли мы все возможное, все, что в наших силах, все, что от нас зависит, чтобы такие дни, во всяком случае, наступили как можно скорее?.. И не этот ли вопрос для каждого пишущего, для каждого, кто имеет дело со словом, сегодня должен быть главным? Не в нем ли и самая суть нашего общего дела?..

Патрик АНДЕРСОН

РОМАН

ЛЮБОВНИЦА ПРЕЗИДЕНТА

Донна Хендрикс, любовница президента Чарлза Уитмора, была убита в Вашингтоне. Адвокат Бен Нортон, любивший ее, решает найти убийцу. Встречаясь с журналистом Филом Россом, подругой Донны Гвен Бауэрс, актером Филдсом, помощником президента Эдом Мерфи, отставным сенатором Ноланом, Нортон начинает понимать, что помощник президента Мерфи и связанные с ним лица хотят ввести его в заблуждение. Бен подозревает, что именно под нажимом Мерфи отказались от своих слов все те, кто рассказывал ему об Уитморе и Донне. А после гибели сенатора Нолана и актера Филдса в нем растет уверенность, что это администрация Уитмора всячески старается помешать расследованию преступления. Друг же президента Ник Гальяно и вовсе пытается запугать Нортона при встрече. И только Клэй Макнейр, один из второстепенных помощников Мерфи, решает рассказать Бену о Байроне Риддле, специалисте по грязным делам в администрации Уитмора.

Теннисный клуб находился возле Миддлберга, примерно в часе езды к западу от Вашингтона. Нортон ехал медленно, любуясь богатой виргинской природой. Он вел машину по извилистой грунтовой дороге мимо конеферм, по старым деревянным мостам, под высокими дубами и наконец увидел надпись: «Теннисный клуб Северной Виргинии. Въезд воспрещен». Он с четверть часа трясся по частной дороге к старому, ветхому зданию клуба. Машину он поставил на поле, заполненном заграничными «седанами» и американскими фургонами, у многих машин задние дверцы были открыты, внутри виднелись пакеты с провизией. Справа в пруду шумели и плескались дети. Нортон пошел туда, где человек пятьдесят — шестьдесят сидели возле глинистого корта на складных стульях и одеялах.

На корте Макнейр сражался с крепко сложенным бородатым противником, однако Нортон первым делом оглядел зрителей. Там были люди всех возрастов, подростки, молодые супружеские пары, несколько дюжин загорелых, хорошо сохранившихся пар среднего возраста и даже одна величественная гранд-дама, казалось, она смотрит этот матч уже много десятилетий. Молодежь потягивала пиво из банок, а старшие наливали из термосов мартини. За исключением женщины в цветастом платье, с большой соломенной сумкой в руке, одиноко стоявшей у дальнего конца корта, все зрители, казалось, были с родными или с друзьями. Джейн Макнейр сидела с дочерьми на одеяле и подбадривала мужа. Нортон, сам неплохой теннисист, стал тоже следить за игрой и вскоре увлекся.

Макнейр и его бородатый противник были первоклассными игроками, но манера игры у них была совершенно разной. Макнейр играл в классической манере. Стройный, элегантный в своей белой форме, он подавал, бил с лета и делал свечу без единого лишнего движения, держался на корте он безукоризненно. Его противник, одетый в красные шорты и полосатую тенниску, играл несобранно, со стонами и вздохами носился по корту, падал, вставал и бил по мячу изо всех сил, он явно уступал Макнейру, но не бросал игры из-за напористости и решительности. Зрители аплодировали обоим игрокам, но Макнейр определенно был фаворитом. Его противник бранился во время игры, а зрители этого не любят. Когда Нортон подъехал, шел третий, последний сет. Счет был шесть — шесть, потом Макнейр сделал несколько отбивов к задней черте, и счет стал семь — шесть. Когда на корт упала тень, Макнейр сделал три прямых подачи, чтобы набрать решающие очки. Его противник заметил судье, что освещение скверное. Макнейр подал последний мяч легко, а когда противник отбил его и бросился к сетке, послал свечу на несколько дюймов выше, чем тот мог достать. Мяч приземлился в футе от черты, толпа заревела, а бородатый с силой швырнул ракетку оземь и недовольно пошел к сетке для рукопожатия.

Джейн с дочерьми побежала на корт, чтобы обнять Макнейра, остальные болельщики окружили их, и пожилой джентльмен в синем блейзере вышел с призом в руках. Он произнес краткую речь. Макнейр сиял, кто-то щелкал фотоаппаратом, раздался последний взрыв аплодисментов, зрители стали складывать стулья с одеялами и потянулись к зданию клуба. Нортон смотрел, как Макнейр покидает корт, одной рукой держа приз, а другой обнимая за плечи жену. Странно, подумал он, что такой слюнтяй может быть первоклассным теннисистом. Хотя, может, в личной жизни он не такой уж слюнтяй. Кто знает?

Внезапно Макнейр, подогнув колени, упал ничком на траву. Его жена вскрикнула и бросилась на землю рядом с ним. Пожилой джентльмен в синем блейзере стал звать врача, а зрители ринулись в разные стороны, кто к Макнейру, кто прочь от него. Нортон приблизился, увидел на тенниске Макнейра расплывающееся красное пятно и стал оглядывать толпу. Женщина в цветастом платье забегала за угол клуба. В беге ее что-то насторожило Нортона. Она скрылась, и он побежал за ней. Когда Нортон подбегал к зданию, мимо него пронесся синий «мерседес». Байрон Риддл уже сорвал парик и надел пиджак поверх платья. Нортон бросился к своей машине, но путь ему преградил бородатый теннисист.

— Куда это вы? — спросил он.

— Стрелявший сейчас скроется. Уйди с дороги.

— Останьтесь здесь, мистер,— сказал бородатый и схватил Нортона за руку. Нортон сбил его с ног, вскочил в свой «мустанг» и понесся за «мерседесом». «Мерседеса» не было видно, но свернуть на шоссе № 50 Риддл мог только через три-четыре мили.

Нортон выжимал акселератор до отказа и, проехав милю, проскочив старый деревянный мост, увидел впереди «мерседес», дорогу ему преграждал грузовик для перевозки лошадей, обогнать его на узкой дороге было невозможно. Нортон догнал «мерседес» и ехал почти бампер в бампер, ища возможности прижать Риддла к обочине. Внезапно Риддл высунулся и обернулся. По ветровому стеклу машины Нортона что-то ударило. Нортон нажал на тормоза, отстал ярдов на пятьдесят и стал вилять из стороны в сторону, стараясь видеть Риддла через стекло в трещинах. Грузовик свернул к обочине, и «мерседес» проскочил мимо него. Потом на повороте впереди показалось что-то зеленое, раздался грохот, «мерседес» скатился с дороги, понесся вниз по отлогому склону и замер у кроnatного ручейка.

Нортон остановил машину и выскочил. Водитель зеленого грузовика-пикапа, краснолицый старик в комбинезоне, шатаясь, вышел на дорогу, из носа у него текла кровь. Цыплята, видимо, упавшие из пикапа, с писком бегали по дороге. Нортон, не обращая внимания на старика, бросился вниз, к разбитому «мерседесу».

Байрон Риддл был прижат к рулю. Цветастое платье пропиталось кровью, мужчина, одетый в него, был мертвенно неподвижен. Нортон просунулся внутрь, обыскал карманы Риддла, потом схватил пакет, валявшийся у него под ногами. Разорвав его, он сунул катушку с пленкой в карман; тут с холма спустился водитель пикапа и заглянул в разбитую машину.

— Черт возьми,— возмутился старик.— Этот гад — педик.

— Я еду за врачом,— сказал Нортон.

— Катят сюда всякие психи из Вашингтона,— ворчал старик.— Педики, хиппи, либералы. Как думаешь, есть у этого типа страховка?

— Поищите у него в карманах,— сказал Нортон, вышел на дорогу, сел в «мустанг» и очень, очень осторожно поехал в Вашингтон. Домой он приехал около восьми, заперся и прослушал пленку. Потом прослушал еще раз, потом позвонил в Белый дом, и президент взял трубку быстрее, чем он рассчитывал.

31

Нортон в течение нескольких лет бывал на приемах в Восточном зале Белого дома, на собраниях в Западном крыле, в кабинетах различных советников президента, но в Овальном кабинете — ни разу. Кабинет этот в его представлении оставался таинственным, недоступным, неким Олимпом, куда взобраться могут лишь немногие, и поэтому на другое утро он был слегка потрясен, обнаружив, как легко попасть в кабинет президента, если ты там нужен.

Когда Нортон представился охраннику у входа в Западное крыло, тот проверил его документы, махнул ему рукой и схватился за телефон. Минуту спустя из Западного крыла навстречу вышел Джо Сарадино. Когда Нортон работал в сенате, Сарадино был лоббистом Пентагона и одним из партнеров Уитмора по гольфу, а теперь стал одним из его военных советников. Джо, долговязый флоридец с лошадиным лицом, был обаятельным, непринужденным и хитрым. Недавно он получил звание бригадного генерала, но одет был в штатское — яркую спортивную куртку и двухцветные туфли. Он потряс руку Нортону и повел его в Западное крыло.

— Бен, что происходит, черт возьми? — спросил Сарадино, когда они шли мимо одетых в черные костюмы агентов секретной службы, казалось, почти не обращавших на них внимания.

— Ты о чем?

— Я никогда не видел шефа таким встревоженным. В чем дело?

— Не имею права говорить, Джо.

Сарадино бросил на него быстрый, недоверчивый взгляд, потом остановился в застланном зеленым ковром коридоре напротив Овального кабинета и взглянул на часы. Было без двух минут десять.

— Вот что я скажу тебе, Бен. Если как-то можешь облегчить душу этому человеку, постарайся. У него сейчас столько забот, что он не может помянуть их все в своих молитвах. Весь Ближний Восток может взорваться в любое время, в любой час. Этот человек находится поистине меж двух огней. Поверь, жутко смотреть, как его терзают все эти заботы. Кабинет его больше всего похож на камеру пыток. Ты уж не создавай ему новых проблем, дружище.

Сарадино снова глянул на часы, и, когда минутная стрелка встала вертикально, ровно в десять он постучал в дверь, распахнул ее, и Нортон вошел в кабинет президента.

Он позволил себе быстро окинуть взглядом прекрасно обставленную комнату. В глаза ему бросились пиловский портрет Вашингтона над камином, бюсты Линкольна и Кеннеди, большой стол президента, стоящий возле него покрытый плексигласом глобус, высокие окна, выходящие на розовый сад, а потом он сосредоточил внимание на двух людях, вставших, чтобы приветствовать его. Эд Мерфи был взъерошенным, недоверчивым, угрюмым. Фрэнк Кифнер — прилизанным, радушным, бодрым.

— Президент спустится через минуту,— сказал Мерфи.

— Отлично.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 14—25.

— Давайте сядем,— продолжал Мерфи.— Поговорим, пока его нет. Он сказал, у тебя есть что-то новое по делу Хендрикс.

— Есть,— сказал Нортон и сел на один из диванов лицом к собеседникам.

— Может, есть смысл поговорить сперва со мной или с Фрэнком?

— Я должен говорить лично с ним,— сказал Нортон.— Он с этим согласился.

Мерфи нахмурился.

— Надеюсь, ты знаешь, что делаешь.

Нортон тоже на это надеялся, но промолчал. Дверь отворилась, и все трое напряглись, готовясь встать при появлении президента, но в кабинет вошел морской пехотинец в красной куртке, он нес на подносе кофе. Нортон и Кифнер отказались; Мерфи взял чашку, когда он пил, руки его тревожно дрожали.

— А я собирался на пляж, Бен,— сказал Кифнер.— Ты испортил мне выходной. Это, знаешь ли, уголовное преступление.

Нортон выдавил улыбку. Шутка казалась ему не особенно остроумной, но лучше было поболтать, чем слушать стук зубов Мерфи о чашку.

— Выходной, по-моему, испорчен у многих,— сказал он.— Слышал кто-нибудь, как состояние Макнейра?

— Утром я говорил с врачами,— сказал Мерфи.— Он поправится. Врачи говорят: войди пуля на дюйм ниже, ему бы конец.

— Кстати, Бен,— сказал Кифнер,— в Виргинии выписан ордер на твой арест. Из-за того, что ты скрылся с места преступления.

Нортон не понял, шутка это или нет, но не успел спросить, как дверь распахнулась снова, и на сей раз вошел президент. За ним следовал Ник Гальяно. Все трое встали, и президент, кивнув Мерфи с Кифнером, подошел к Нортону и протянул руку.

— Давно мы не видались, Бен,— сказал Чарлз Уитмор. Голос его был мягок и звучен, загорелое лицо уверенно, и в тот миг, когда они стояли почти вплотную лицом к лицу, Нортон почувствовал, что его подавляет ореол уверенности и власти, окружающий как личность Уитмора, так и его должность. Появилось желание верить и содействовать этому человеку. Он ощутил, что слабеет, словно в кабинете был какой-то газ, от которого люди теряют решимость.

Выпустив руку президента, Нортон отступил назад.

— Спасибо, что приняли меня,— сказал он, нарочно опустив почти обязательное «сэр». Нортон постоянно твердил себе: «Он такой же человек, как и все».

— После того, что ты сказал по телефону, у меня не оставалось выбора,— ответил Уитмор.— Давайте присядем, джентльмены, и послушаем, что Бен скажет нам.

Президент сел за свой стол и вынул из верхнего ящика коробку сигар. Ник Гальяно подошел к камину и сел в кресло. Трое остальных сели в кресла, обращенные к президенту.

— Хочет кто-нибудь присоединиться ко мне? — спросил Уитмор и поднял сигару «монтекристо». Все покачали головами, и президент рассмеялся.

— Кубу я признал, поэтому имею право курить их,— сказал он и зажег сигару. С удовольствием пыхнул, подался вперед и уставился на Нортона.

— Возможно, ты не знаешь, Бен, но я был в таком же неведении относительно гибели Донны, как и все остальные. Эду я велел поднажать на полицию, но в ответ только и слышал, что у них есть несколько подозреваемых, но ничего определенного. Вдруг неожиданно звонишь ты и говоришь, что знаешь, кто ее убил.— Он покачал головой и затянулся снова.— После вчерашней истории я догадываюсь, что этот Риддл имел серьезное отношение к делу. Черт, я встречался с ним только один раз, теперь начинает казаться, что он был сюда кем-то подослан.

— Вину за Риддла принимаю на себя,— сказал Эд Мерфи.— Вчера я свел некоторых людей и узнал много такого, о чем никто не потрудился сказать мне сразу. Он служил в ЦРУ и был связан с Уитом Стоуном. Видимо, нам никогда не

Рисунки Геннадия НОВОЖИЛОВА

узнать, какие планы вынашивал этот тип. Но мы знаем, что вчера он стрелял в Макнейра, и, по-моему, Донну убил он же. Мне кажется, Бен выяснил именно это. И должен сказать, что извиняюсь перед Беном. Он предупреждал меня насчет Риддла и оказался прав. Риддл был мерзавцем, я рад, что мы наконец от него избавились. Об этом ты и хотел сказать, не так ли, Бен?

Нортон поглядел на Мерфи с невольным уважением. До чего же хитер и расчетлив! Свалить всю вину на Риддла, раздать сигары, принести поздравления, пожать всем руки и с улыбкой уйти. Но этому не бывать.

— Риддл не убивал Донну,— сказал Нортон.

— Откуда ты знаешь? — спросил Кифнер.— Какие у тебя есть доказательства?

— Думаю, следует начать сначала,— сказал Нортон.— Вы не против, мистер президент?

— Начинай,— сказал Уитмор и подался вперед, не расставаясь с кубинской сигарой.

— Хорошо. Прежде всего я узнал, что Джефф Филдс установил в своем доме на Вольта-плейс звукозаписывающую систему, включающуюся от звука голоса.

— Откуда узнал? — требовательно спросил Эд Мерфи.

— От Гейба Пинкуса, а он, видимо, от полицейских.

— Это правда,— сказал Фрэнк Кифнер.— Наши люди обнаружили эту систему, но пленки не нашли. Филдс утверждал, что никогда не заправлял туда пленку.

— Да,— сказал Нортон,— однако накануне гибели он проговорился мне, что пленка где-то есть. Где именно, он не сказал, но к тому времени я был убежден, что Риддл находится в центре событий, и поэтому не отставал от Макнейра в надежде, что он расскажет мне кое-что о Риддле. Вчера утром Макнейр согласился поговорить со мной после теннисного матча, но Риддл его ранил.

— Как мог Риддл узнать о согласии Макнейра? — спросил президент.

— Точно не знаю,— ответил Нортон,— но Риддл был специалистом по подслушиванию, так что вывод делайте сами. Похоже, он немало знал о том, кто что говорил и делал. Держу пари, если вы найдете жилище Риддла, то обнаружите там множество пленок, копий документов и бог знает чего.

— Займешься этим немедленно, Эд,— приказал президент.— Бен, как, по-твоему, что за игру вел этот Риддл? Чего он хотел?

— Трудно сказать,— ответил Нортон.— Может, приключений. Может, высокой должности. Думаю, он был не совсем нормален. У меня есть сведения о его связи с Уитом Стоуном — Стоун подсунул вам Риддла с целью раздобыть материал для шантажа. Хотелось бы знать, что за планы были у Стоуна.

— Этот тип ведет много игр,— сказал президент.— Он думал, что я сделаю его министром юстиции, как-то я сказал ему это в шутку, а он, видимо, принял всерьез. Кроме того, он адвокат многих крупных нефтепромышленников, а эта публика ведет игру грубо. Раздобудь Стоун что-то против меня, так они полезли бы ко мне со своими грязными делами. Ну, а что пленка, Бен? Давай вернемся к ней.

— Небольшое сообщение,— сказал Кифнер.— Сегодня утром я был у Макнейра в больнице, он сказал, что видел в столе у Риддла коробку с пленкой, на ней стояли буквы «Д. Х.», и Риддл грозился убить его, если он кому-нибудь проболтается. Об этом Макнейр и хотел рассказать вчера Бену.

— Охотно верю,— сказал Нортон.— Потому что когда Риддл разбился, я нашел эту пленку. Вот почему я так поспешно уехал. Не хотел отдавать ее виргинской полиции да и никому другому. Пленку я привез домой, прослушал, а потом позвонил президенту и попросил об этой встрече.

Он мог бы добавить, что после звонка взял пленку, поехал в отель и провел там ночь под вымышленной фамилией. Даже теперь где-то в глубине сознания у него таился страх, что в любой миг кто-то может нажать кнопку, он провалится и бесследно исчезнет.

— И эта пленка у тебя при себе? — сказал президент.

— Да, сэр,— ответил Нортон, машинально похлопав себя по карману пиджака.— Я прокручу ее, как только все будет готово.

— Все готово,— сказал президент.— Магнитофон в этом шкафу.

Нортон встал и подошел к шкафу.

— Пленка ничего не доказывает,— впервые подал голос Ник Гальяно.— Ее можно подделать, смонтировать, сделать все, что угодно.

— Это может определить эксперт,— сказал Кифнер.

— Никакого житья от этих проклятых экспертов,— сказал Ник.

Нортон открыл шкаф и уставился на лучший магнитофон из всех, какие ему доводилось видеть.

— Я не записываю всего, что здесь говорится, если ты думаешь об этом,— сказал президент.— Знаешь, как обращаться с ним? Или кого-нибудь вызвать?

— Думаю, справлюсь сам,— ответил Нортон, достал из кармана пленку и стал ее устанавливать.

— Не знаю, правомочно ли мы поступаем,— сказал Эд Мерфи.— Раз это новая улика, ее нужно сразу передать в прокуратуру. Мы не вправе ничего нарушать ради удовлетворения любопытства.

Президент вопросительно глянул на молодого прокурора.

— Фрэнк?

— У меня нет никаких возражений,— ответил Кифнер.— Я представляю здесь министерство юстиции. А вы в конце концов президент.

— Так меня уверяют,— пробормотал Уитмор.— Ладно, Бен, действуй.

Нортон воззрился на президента, удивляясь его спокойствию. Неужели он не знает, что сейчас услышит? Неужели ему это безразлично? Или он изображает неведение? Как бы там ни было, этот сукин сын умеет владеть собой.

Нортон нажал кнопку. Послышался какой-то шум, потом раздался телефонный звонок, и женский голос произнес: «Алло?» Нортон включил перемотку, и пленка с громким свистом завертелась.

— Это Донна отвечает по телефону,— сказал Нортон.— Полагаю, что данный разговор особого значения не имеет.

Ему стало любопытно, понял ли президент, что это за разговор. Выждав несколько секунд, он снова включил запись, свист перешел в негромкий шум. Фрэнк Кифнер закашлялся, кресло президента скрипнуло. Внезапно на весь Овальный кабинет раздался стук в дверь. Этот звук, последующие шумы и голоса слышались совершенно ясно; Нортону вспомнились старые радиопьесы, которые он слушал в детстве, лежа на полу в гостиной.

«Кто там?» — спросила Донна.

«Я. Открой».— Это был мужской голос, грубый и нетерпеливый. Нортону стало интересно, узнают ли его остальные. Он сидел, глядя на вертящуюся катушку, почему-то не желая смотреть на лица остальных.

«Кто? А, сейчас».

Послышались лязг цепочки, щелканье засова, скрип двери.

«Это ты? Что тебе нужно?»

«Поговорить».

«Нам не о чем говорить».

«По-моему, есть. Ну что, пригласишь меня войти или нет?»

«Ладно, входи».

Дверь закрылась, по коридору дома на Вольта-плейс прозвучали шаги.

«Можешь сесть сюда,— сказала Донна.— Что ты хотел мне сказать?»

Нортон украдкой оглянулся. Все сидели неподвижно, с застывшими лицами. Однако он чувствовал, что напряжение нарастает. Несомненно, они уже все поняли.

«Эта твоя книга,— сказал мужчина.— Письма. Ты что, не понимаешь...»

«Господи, так вот зачем ты приехал»,— раздраженно сказала она.

«Послушай, ты создаешь никому не нужные проблемы».

«Пошел к черту! — крикнула Донна.— Убирайся!»

Послышалась гневная брань мужчины, скрип кресла, шаги — и потом, словно эхо, скрип кресла и шаги здесь, в Овальном кабинете.

— Выключи! — крикнул Ник Гальяно и бросился к магнитофону, оттолкнув Нортона.

Ник выключил магнитофон, Нортон схватил его, и внезапно Ник вцепился в горло Нортону, но тут на весь кабинет раздался крик:

— Ник! Перестань! Сейчас же!

Это крикнул президент; услышав его, Гальяно мгновенно опустил руки и, бледный, с дрожащими пальцами, застыл возле шкафа.

— Незачем крутить дальше эту проклятую пленку,— злобно сказал Ник.— Я сам расскажу, что случилось. Я требовал у Донны рукопись. Мы поссорились. Она влепила мне пощечину, я дал сдачи. Она упала и стукнулась головой о столик. Вот и все. Это был несчастный случай. Злого умысла против нее у меня не было. Я только хотел помочь тебе, босс.

Он снова сел в свое кресло и закрыл лицо руками. Президент нахмурился. Эд Мерфи дрожащими руками зажег сигарету. Наконец Фрэнк Кифнер нарушил молчание:

— Что было дальше, Ник? Кому ты об этом рассказал? Кто взял пленку?

Ник Гальяно медленно поднял голову, говоря, он все время смотрел на президента, будто в кабинете никого больше не было.

— Я сразу же увидел, что она мертва. Помочь ей было невозможно. Я перепугался и поехал домой. Потом подумал об отпечатках пальцев. Что делать, я не представлял. За себя я не беспокоился — не беспокоюсь и сейчас, клянусь богом, босс,— но понимал, что этот случай даст твоим врагам повод для шантажа. Я хотел вернуться туда и стереть отпечатки, но не мог решиться. Нужен был кто-то другой. Тогда я вспомнил о Риддле. Он был специалистом в таких делах. И я позвонил ему. Сказал, что зашел в тот дом и обнаружил эту женщину мертвой, что не знаю, кто ее убил, но прошлым вечером там был один значительный человек, и может возникнуть неприятное дело. Пообещал, что, если он сделает все как надо, я в долгу не останусь. Он ответил: «Не волнуйся, Ник. Байрон Риддл все сделает как надо». Два дня спустя я решил, что он сдержал слово. А потом я узнал о пропаже пленки и понял, что Риддл меня обманул. Я поехал к нему, у нас был крупный разговор, но он утверждал, что о пленке ничего не знает. А потом взял и скрылся. Вот и все.

Ник поднялся и встал перед столом президента, словно подсудимый. Выглядел он усталым, постаревшим, опустошенным.

— Я старался помочь тебе, босс. Ты сказал, что она пишет книгу, может этим навредить тебе, и я хотел отнять рукопись. Но даже и не притронулся к ней — наверно, ее взял Риддл. Хотел замять эту историю. Однако только испортил дело, как и все дела в своей бестолковой жизни. Но вину я полностью беру на себя. Замешаны тут только мы с Риддлом. Я подпишу признание, сделаю заявление, признаю себя виновным — как ты скажешь.

Уитмор медленно поднялся, вышел из-за стола и обнял Ника за плечи.

— Крепко тебе не повезло, а, Ник? — Уитмор печально покачал головой.— Туго придется тебе, дружище. Тут уж я ничем не могу помочь. Тем не менее я по-прежнему твой друг.

Ник сделал попытку улыбнуться.

— Это самое главное, босс. Теперь я должен отсюда уйти. Я сказал все. Теперь только скажи мне, что делать.

Фрэнк Кифнер откашлялся.

— Мистер президент, я считаю, что мне следует выслушать признание мистера Гальяно как можно скорее. Разумеется, если он хочет, при этом может присутствовать адвокат.

— Адвокат мне ни к чему,— сказал Ник.— Я пойду к себе в кабинет. Буду ждать там, пока вы не закончите.

Сунув руки в карманы, волоча ноги, Ник вышел, взгляд его был потуплен, жизнь, казалось, ушла из него.

Наступило короткое молчание, потом заговорил Кифнер:

— Мистер президент, есть несколько вопросов, которыми нужно заняться как можно скорее.

— Какие еще вопросы? — резко спросил Эд Мерфи.— Во всем повинны только Ник и Риддл. Ник признался, а Риддл мертв.

— Подождите немного,— сказал президент.— Я должен поговорить с Ником. Он пустит себе пулю в лоб, если решит, что окажет мне этим услугу. Надо его успокоить. И позаботиться об адвокате. Вернусь я через пятнадцать минут, и мы все доведем до конца.

Все трое поднялись, когда президент широким шагом выходил из кабинета, потом сели снова. Нортон думал о помиловании и о том, подобает ли президенту говорить сейчас с Ником. Но что тут поделаешь?

— А какое было чудесное утро,— устало сказал Эд Мерфи.— Жутко подумать, что это Ник, но по крайней мере эта проклятая история завершилась. Слушайте, а выпить никто не хочет?

Нортон и Кифнер покачали головой.

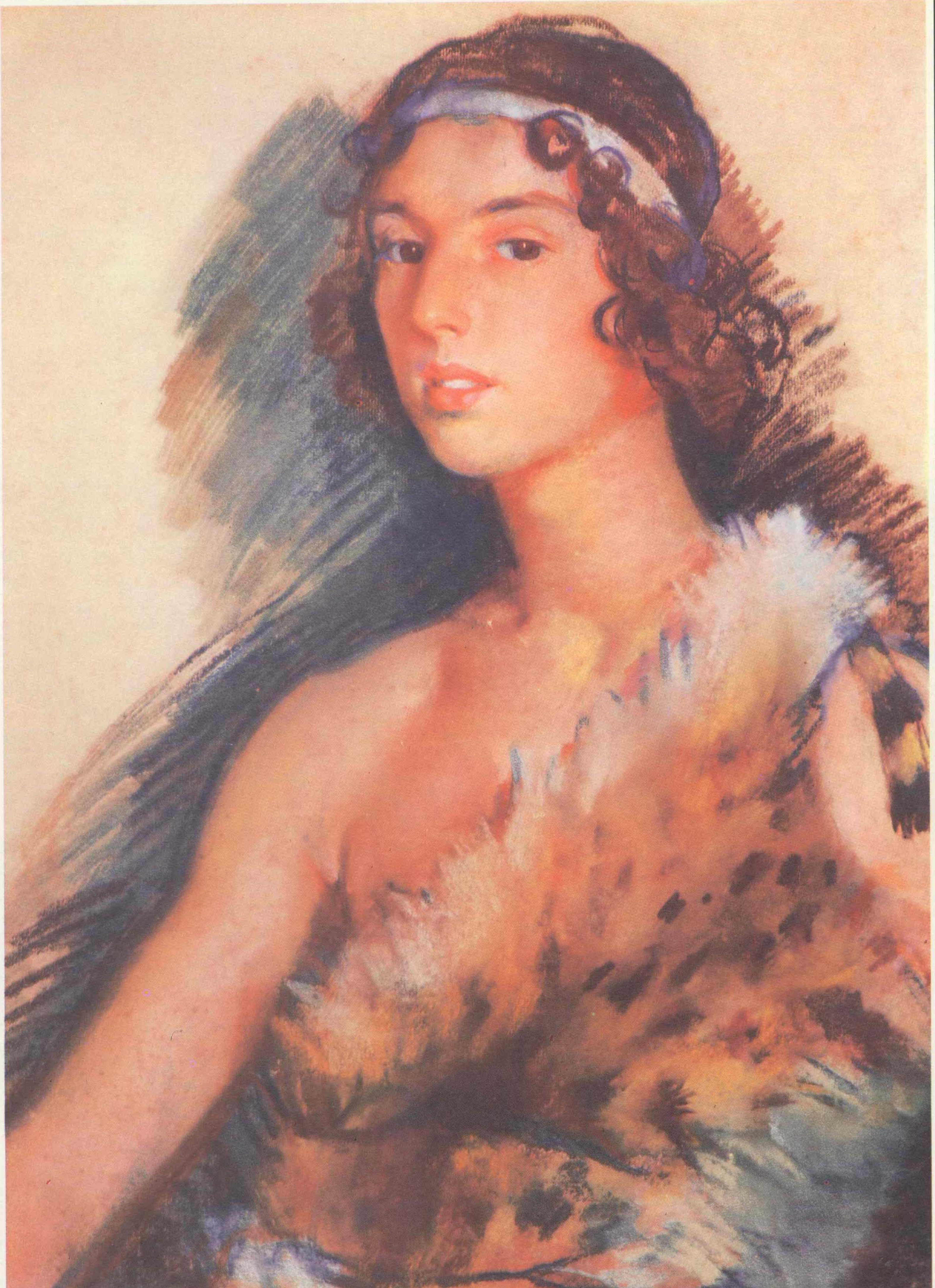
— Бен, я снова скажу,— продолжал Эд Мерфи,— поработал ты прекрасно. Ты был прав, а я нет. Упрямства тебе не занимать, но я тобой восхищаюсь. Босс тоже. И поверь, когда все утрясется, предложение работы остается в силе.

Нортон не знал, что ответить, но тут распахнулась дверь, и вошел расфранченный военный советник Джо Сарадино.

— Тебе записка, Бен,— сказал он и подал Нортону листок бумаги.

— Сейчас он занят,— проворчал Эд Мерфи.— Этому делу придется подождать.

Нортон взял записку, прочел ее и встал.



З. Е. СЕРЕБРЯКОВА.
ПОРТРЕТ Г. М. БАЛАНЧИВАДЗЕ (Д. БАЛАНЧИН) В КОСТЮМЕ ВАКХА. 1922.

З. Е. СЕРЕБРЯКОВА. БРЕТОНКА. 1934.

Государственная Третьяковская галерея.

МОНОЛОГ О МАТЕРИ

Начало на стр. 8.

ральные костюмы, парики, головные уборы. В это время она делала попытки работать в не свойственной ей манере — начала по заказу писать композицию на тему «Искусство и труд», но не смогла. Требовались обобщенные символические образы, а она всегда была верна правде, живой натуре. И как ни нуждалась семья, от заказов отказалась. Такая принципиальность очень усложняла ее жизнь.

«Когда я уезжала 24 августа 1924 года, я ведь думала, что увижусь через несколько месяцев со всеми, моими обожаемыми, бабулей и детьми — а вот вся жизнь прошла в ожидании, в какой-то, щемящей мое сердце, досаде, и в упреке себе, что рассталась я с вами...»,— писала она дочери в марте 1958 года из Парижа.

— Жизнь в Париже складывалась трудно, особенно в первые годы. Заказов на портреты было мало. Надежда на выставку и продажу картин, что, собственно, и привело ее во Францию, не оправдывалась. Впервые удалось организовать выставку лишь в 1927 году. Маме помогали многие русские художники, жившие за рубежом. Заработанные деньги она посылала нам через «Торгсин». Но бабушке было трудно справляться с растущими внуками, и вскоре в Париж уехал брат Александр, а за ним младшая, Катя. Мы расстались на 36 лет. Мама писала часто, и все больше на открытках, они легче преодолевали границы.

Татьяна Борисовна показывает мне альбом, где хранятся эти открытки. Репродукции картин из Луврского собрания, множество открыток, воспроизводящих полотна Делакруа, Ренуара, ван Гога, Дега, Сезанна, мало известных в нашей стране в 30-е годы. А на обратной стороне восторженные слова об этих мастерах, очень точные характеристики их творчества.

«Какой удивительный мастер — Франц Гальс — никакой импрессионизм не может сравниться с ним по живописи, легкости и быстроте исполнения. И какой рисунок».

Тонкая ниточка почтовой переписки, тянувшаяся между матерью и дочерью, обернулась крепчайшей связью, соединившей их общими взглядами на искусство, эстетическими симпатиями и антипатиями.

— Нашу переписку прервала война. Возобновилась она только в 1946 году. Многое изменилось. Я оставила балет, окончила институт и стала художником Московского Художественного театра, брат Евгений — архитектором. Мы не раз звали маму вернуться. Но она боялась, что ее искусство будет чуждо и непонятно советским людям. Кроме того, пугали и условия нашего быта. Она знала, что в квартире на улице Глинки у нас осталась только одна комната. «Но кому я там нужна? Тебе, дорогой мой Татусик, нельзя же сесть на шею. И где жить? Всюду буду лишняя, да еще с рисованием, папками»,— писала она в 1934 году. Когда в 1960 году я впервые приехала к родным во Францию, многие их страхи стали мне ясны. Информация, которую они получали из французских газет и радио, искажала жизнь нашей страны. Достижения, рост культуры — все было «перекрыто» гипертрофированными сообщениями о недостатках, бедности и тех политических перегибах, которые действительно были в 30-е годы. А вот о лишениях, пережитых народом во время войны, они знали мало и не представляли себе, каких жертв стоила наша победа. Маму поражало во мне все — и «москошвеевский» костюм, который я купила для этой поездки, и туфли. Она восхищалась тем, что у нас делают такие добротные вещи. Ее искренне радовало все хорошее, рассказанное мной о нашем житье-бытье.

Они без устали бродили по музеям и выставкам, хотя Зинаида Евгеньевна была уже в преклонных годах. Ей придавало сил то, что, оставив в России двенадцатилетнюю девочку, она обрела свою Тату зрелым человеком, очень близким ей духовно, и была безмерно счастлива, что может поделиться с дочерью тем богатством, которое хранится в парижских музеях.

— Нам не приходилось подлаживаться друг под друга. Мой восторг был для мамы продолжением ее собственных ощущений, а то, что ей не нравилось, не вызывало интереса и у меня. Например, она категорически не принимала абстракционизм и вообще все то, что относилось к понятию модернизма. Ее как художника-реалиста пугал отход от духовности, от восхищения живым и реальным человеком.

«Были мы с Катюшей на выставке сюрреалистов, и представить себе трудно, какая это чушь, галиматья, наглость... У вас все-таки разумнее и здоровее взгляд на искусство» (из письма 1938 года). «Здесь такое смешение понятий об искусстве, что не понимают простого, реального искусства...»

— С особым трепетом я разглядывала в мастерской маминой работы, убеждаясь, каких высот она достигла в мастерстве, как много сделала за эти годы. Мне стало ясно — картины надо возвращать в Советский Союз. В нашем посольстве в Париже меня поддержали, а посетившие первыми маму в 1961 году советские художники Д. Шмаринов и С. Герасимов приняли активное участие в организации выставки в Москве. В 1965 году она состоялась. Позже с экспозицией познакомились жители других наших городов. Благодаря этому начались активные контакты с художниками, писателями и просто любителями живописи.

Особенно тронуло маму письмо от пионеров, посмотревших ее выставку. Внимание соотечественников растворяло осевшую в душе горечь. «Все меня волнует и радует... Я здесь ведь никогда не слышу ни одного отклика моему искусству». Радовало и то, что традиции семьи не угасли. В Париже ныне известны, как очень своеобразные живописцы, брат Александр и сестра Екатерина. Стал художником внук — мой сын Иван Николаев, которому мама много писала, стараясь наставить его в искусстве.

Впрочем, мама никогда не поучала. И для себя, и для других она считала истиной строки своего любимого поэта — Пушкина, чей портрет всегда висел в ее мастерской:

Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя
свободный ум,
Усовершенствуя плоды
любимых дум,
Не требуя наград за подвиг
благородный...

За окнами квартиры темнело. Мы с Татьяной Борисовной пили чай за круглым столом, и наша беседа, вернее, ее монолог был подобен проявлению фотопленки — все яснее высвечивался образ художницы, которая с такой неженской твердостью и последовательностью утверждала в русском искусстве нерасторжимость века нынешнего и веков минувших.

Елизавета ТРЕНЕВА

— Нет,— сказал он,— это дело ждать не может. Я вернусь через десять минут.

— Что за черт? — запротестовал Эд Мерфи, однако Нортон был уже за дверью.

По коридору он прошел всего несколько футов к соседнему кабинету. Клэр в одиночестве ждала его за столом, глядя в окно на розовый сад. Когда Нортон вошел, она встала и подала ему руку.

— Миссис Уитмор...— начал было он.

— Бен, у нас мало времени,— перебила Клэр Уитмор.— Можете вы сказать мне, о чем там шла речь?

— Ник случайно убил Донну. Он признался. Риддл, тот самый человек, что погиб вчера, помогал ему заметать следы.

Клэр изумленно взглянула на Нортона, потом кивком пригласила его сесть рядом.

— А о чем пойдет речь теперь?

— Не знаю.

— Но все будет не так просто, как хотелось бы кое-кому?

— Нет,— ответил он.

— Можно обратиться к вам с просьбой?

Нортон уставился на полированный стол красного дерева; это была самая неприятная минута за все утро.

— Даже не знаю, стоит ли вести этот разговор,— сказал он.— Мне и так нелегко. Вы знаете, что лично для вас я сделал бы все, однако...

— Я ничего не прошу для себя. Или для Чарлза. Бен, я не меньше вас хочу, чтобы свершилось правосудие. Помните записку о вскрытии?

Нортон был ошеломлен.

— Значит, вы...

— Один знакомый наводил для меня справки. Думаете, я не хотела знать, причастен ли мой муж к смерти этой несчастной женщины? Но я могла сделать очень мало, не привлекая к себе внимания, поэтому, узнав, что она была беременна, я решила, что лучше всего будет сообщить об этом вам. Видите, я ничего не скрываю.

— Я вовсе не думал, будто вы что-то скрываете. Что вы мне хотели сказать, миссис Уитмор?

Она стала складывать на коленях платок.

— Как-то неловко говорить это вам. Я не знаю всех фактов дела. Возможно, их никто никогда и не узнает. Но вскоре с вашим участием будет принято несколько очень важных решений. В общем, я хочу сказать вот что, Бен, принимая эти решения, старайтесь помнить, как напряженно работал Чарлз, вступив в эту должность. Вы не можете представить себе, что это такое. Никто не может. Как говорил Гамлет, один человек, ополчившийся против моря смут. Это невозможная работа, Бен. Поэтому он вынужден полагаться на других людей и, возможно, не всегда выбирает подходящих. В этом он похож на всех других президентов. Когда приходится выбирать между умным и преданным человеком, выбираешь преданного. И почему-то именно преданность неизменно заставляет их поступать не так, как нужно.

Чарлз совершал ошибки; никто не знает этого лучше, чем я. Но, несмотря на все свои недостатки, по-моему, он всегда стремился сделать для страны все, что в его силах. Помните, как Марк Антоний сказал о Цезаре? «Когда бедняк стонал, то Цезарь плакал». Чарлз тоже плакал, Бен, ночи напролет ходил по комнате, ругался, молился, напивался — и не только — из-за тягот своей работы и невозможности сделать все, что он хочет.

Я вижу это все, и мое сердце стремится к нему, не к мужу, которого я давно потеряла, а к человеку, которым я восхищаюсь, в которого верю и которого в конце концов прощаю. Поэтому, Бен, прошу вас только о том, чтобы, принимая свое решение, вы постарались понять, как трудно было ему, и помнили, как много в этом человеке хорошего.

Раздался стук в дверь.

— Мне пора,— сказал Нортон.— Прошу прощения. К сожалению, не могу передать вам, каково мне сейчас. Я согласен со многим, что вы говорили. Я... я запомню, что вы сказали. Благодарю вас.

Он поднялся и вышел, оставив ее глядеть на розовый сад.

Президент вернулся и сидел за своим столом. Никто не спросил у Нортона, где он был. Видимо, они знали. Ему казалось, что все, кроме него, знают все.

— Мы с Фрэнком обговорили этот вопрос,— сказал Эд Мерфи президенту.— Он считает, что Ник должен немедленно предстать перед большим жюри. Рассказать, что сделал он, что сделал Риддл, и вся история завершится в два счета. Вам, мистер президент, видимо, следует сделать заявление. Пригласите репортеров, сообщите, что вам стало известно, скажите о показаниях Ника, признайте наши ошибки, воздайте Бену честь за то, что он сделал, и все будет в прошлом. Это очень важно, потому что по всему городу ходят слухи, и, если мы не покончим быстро с этим делом, нас ждет кризис.

Президент перевел взгляд на прокурора.

— Ты считаешь так, Фрэнк?

Лицо молодого прокурора было суровым.

— Сэр, очевидно, я должен выслушать показания мистера Гальяно полностью. Однако на основании уже известного могу сказать, что, когда он все изложит перед большим жюри, дело может окончиться так, как предположил мистер Мерфи. Разумеется, на основании своего признания мистер Гальяно, очевидно, будет признан виновным в смерти мисс Хендрикс и окажется в тюрьме.

Президент неторопливо кивнул и повернулся к Нортону.

— Что скажешь, Бен? Устраивает тебя такое завершение дела?

Нортон ответил Уитмору взглядом, в сущности, не видя его. Он думал о многом. О словах Клэр Уитмор. О том, что очень устал, что хорошо бы скорей покончить с этим испытанием. Но думал и о пленке, той ее части, которую Ник не дал дослушать, той, где он заорал: «Паршивая сука!» — потом быстро последовали шлепок и звук удара кулаком по лицу, вскрик Донны, стук головы о столик, потом крики Ника: «Очнись! Очнись!» — и наконец долгое, жуткое молчание.

Перевел с английского Д. ВОЗНЯКЕВИЧ.

Окончание следует.

Творческая судьба Вс. Иванова парадоксальна. Партизанские повести, в особенности «Бронепоезд 14-69», были встречены прессой восторженно-многоголосо. Но с появлением РАППа и журнала «На литературном посту» тон критики резко изменился.

Восхищенное принятие сборника Вс. Иванова «Тайное тайных» Горьким, который ставил рассказы этого цикла по мастерству выше Бунина, не сдержали напостовских надругательств над Всеволодом Ивановым (доходило даже до обвинений, сейчас с трудом воспринимаемых даже по формулировке, «в сигнализации классовому врагу»).

Преследуемый заушательской критикой, Всеволод Иванов пишет:

«Если верить критике, самой уродливой моей книгой была «Тайное тайных»,— говорят, мать из всех своих детей наиболее любит самого уродливого — и я очень любил «Тайное тайных». Это был воинственный и симпатичный мне уродец. Однако в душе создавалось такое тяжелое чувство, которое порой превращалось в маниакальную мысль о преследовании.

Но я принялся за новые работы. По-прежнему писал я о маленьких, но героических людях, которые стремятся к большому подвигу ради создания новой жизни. Один за другим писал я два романа: «Кремль» (жизнь в маленьком уездном Кремле) и «У» (философский, сатирический роман), место действия которого Москва и даже уточнен момент — снос храма Христа Спасителя...

И не казалось удивительным, когда эти романы возвращались ко мне ненапечатанными...

Теперь (1958 г.) об этом писать почти забавно, но тогда мне было далеко не весело. Утешал себя, как мог.— Воевать — так не горевать, а если горевать, так лучше не воевать!»

Роман «У» так и не увидел света до сих пор. К концу 1933 года (в ноябре) из него было напечатано в «Литературной газете» только несколько отрывков.

По достоинству друзья Всеволода Иванова оценили роман «У», когда автора уже не было в живых. В. Б. Шкловский писал: «Роман «У» необыкновенно сложно написанная вещь. Это произведение напоминает мне «Сатирикон» Петрония и романы Честертона.

На Петрония это похоже тем, что здесь показано дно города и похождения очень талантливых авантюристов.

Честертона это напоминает тем, что сюжет основан на мистификации.

Великого писателя Всеволода Иванова все время подравнивали и подчищали так, что он не занял то место в советской литературе, которое ему по праву принадлежит.

«Бронепоезд» появился в советской литературе очень рано, и он определил ход литературы, становление ее нового лица.

В. В. Маяковский говорил, что писатель стремится к тому, чтобы у него вышло то, что он задумал. Редактор, к сожалению, часто думает о том, как бы чего не вышло. Из этой коллизии получаются поправки, а литература состоит из произведений, а не из поправок.

Читатель имеет право видеть писателя во всем его своеобразии, и, кроме того, он должен, покупая новую книгу, иметь новый материал».

За печатание «У» высказывались и другие видные писатели, впервые прочитавшие роман в 60-е годы в рукописи.

Друг Вс. Иванова, член комиссии по его литнаследию, академик Микола Бажан писал мне 1 января 1982 года: «Вот если бы еще хватило у Вас сил на то, чтобы добиться издания романа «У». Мне этот роман кажется превосходным и начинающим то течение в советской русской прозе, которое обычно именуют «Гофманиадой». Ведь написан роман раньше, чем «Мастер и Маргарита». Прошу Вас — проверьте даты. Ей-богу, это не просто мой личный интерес, а нужные поправки к истории».

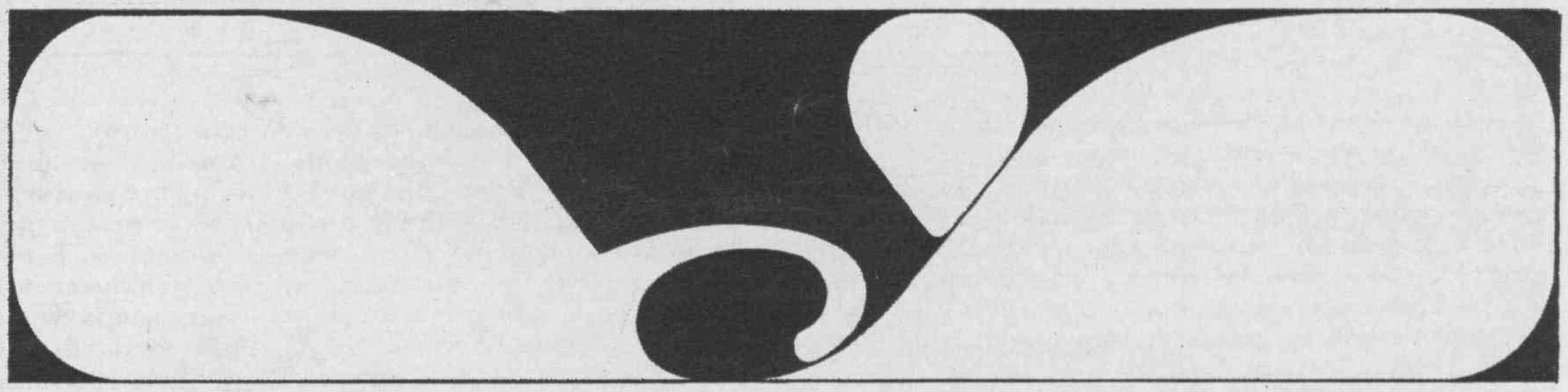
Сегодня журнал «Огонек» публикует фрагмент из романа «У». Воспринимаю это как начало подлинного прочтения литературного наследия Вс. Иванова.

Тамара **ИВАНОВА**

Всеволод ИВАНОВ

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

Только волнением объясним мой сон в течение почти целых суток. Я, если вы помните, лег ранним утром, а проснулся глухой ночью, часа в три; проснулся с выученной крепко-накрепко фразой: «Э, так вот ты какое задумал!» И фраза эта относилась к доктору. Он шнырял по комнатке, настолько горбясь, что казалось, он пробует приспособленность своих четверенок. Глаза его неимоверно блестели, хоть гаси. Я привстал, чувствуя себя страшно легким и очищенным. «Лежите, лежите, я на минуточку, за ножиком,— сказал он.— По очень сходной цене приобрел петуха. Будем стряпать, того ради будет обед небывалого размера». И точно, под мышкой его теперь лишь я разглядел петуха. Как ни толкуй вкривь и вкось причины важности этой птицы, одно бесспорно покамест, что пред нами был весьма крупный экземпляр с превосходным нежно-серым оперением, похожим на дым папиросы, с маленькой головкой, украшенной синим, переходящим в черный, гребнем, и с огненно-рыжим хвостом. Ноги его были связаны носовым платком. Сидел он спокойно, и что-то неестественно умное выражал его взгляд, истоки чего-то обезьяньего, если не человеческого. На мгновение даже я смутился, глядя в его вразумляющие глаза, на мгновение подумал даже: «Не сплю ли я?!» И отвел взор. Петух опять нашел меня. Его глаза передавали мне такое презрение, с каким ни один человек не смотрел на меня

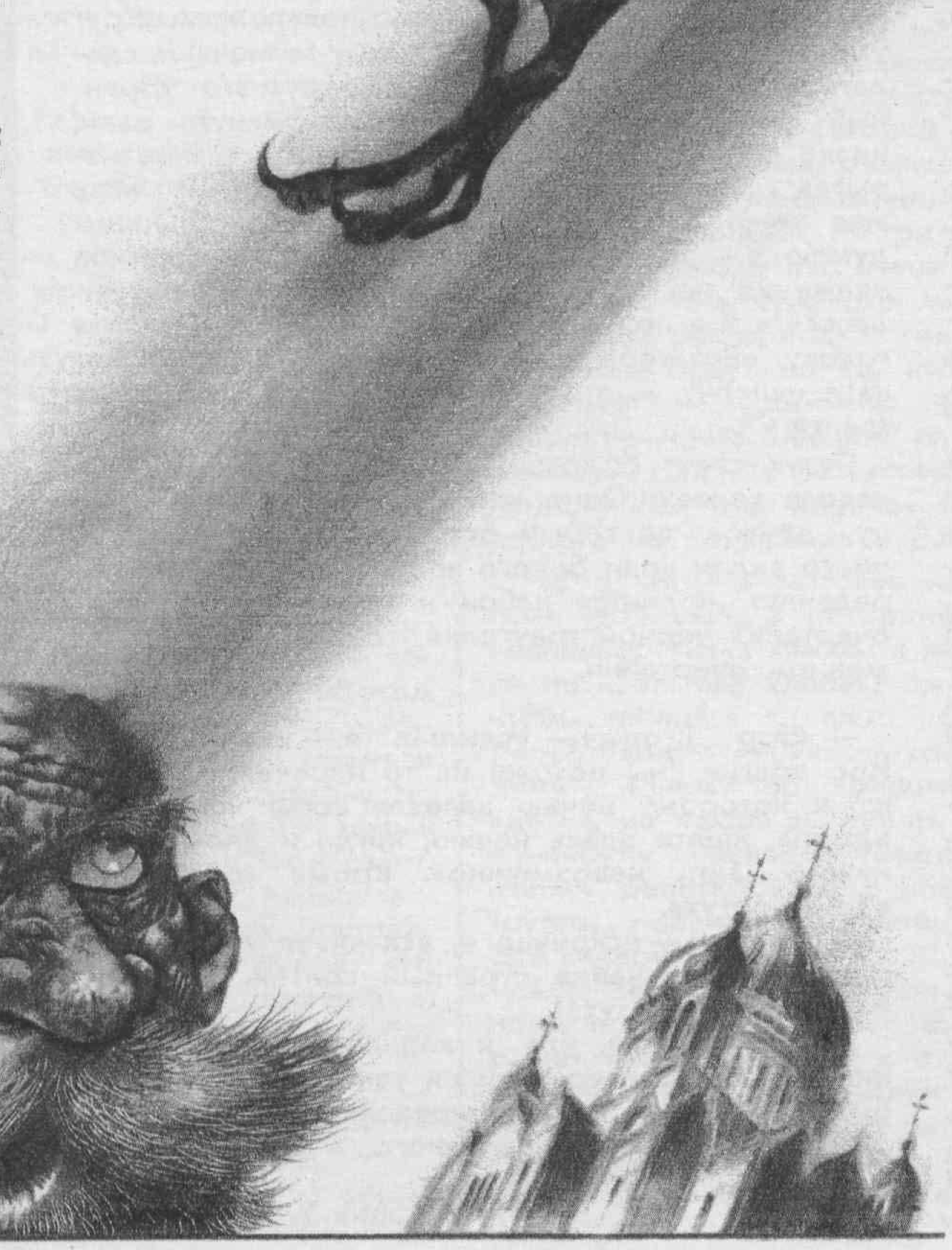


никогда, и опять я подумал: «Нет, сплю, откуда петуху так смотреть?» Побуждаемый, скорее всего, этой тревогой, я сполз с тюфяка и босой ногой начал шарить на полу ботинок, все еще глядя в удивительные, я бы сказал, изливающие повеление глаза петуха. Заноза впилась под ноготь большого пальца. Я тотчас же выдернул ее — и рассмеялся. «Чего вы?» — спросил доктор. «Да мне показалось, что сплю»,— ответил я.— «Сквозь рассвет, вставая, всегда кажется, что спишь»,— ответил весело доктор, шаря в узелке, где мы хранили пищу.— Вам иод?» — «Прошло»,— ответил я, поспешно натягивая ботинки, вместе с тем искоса взглядывая на петуха. Из-под синего гребня петух наблюдал за доктором. Скоро доктор достал ножик, из тех, которые именуют «сапожным» — откуда он у него? — попробовал пальцем лезвие — и, честное слово, мне показалось, что петух ухмыляется. «Сами будете резать?» — «Другие»,— ответил доктор уклончиво. И тогда я, стараясь поймать глаза петуха, сказал: «Разрешите мне прирезать!» И опять доктор с несвойственной ему уклончивостью ответил: «А там видно будет».— «Да вы не опыт ли какой намерены производить?» — «А там видно будет»,— опять выпустил доктор. Петух теперь уже сидел на руке доктора, глядя куда-то поверх моей головы и будто говоря своим поразительно умным взором: «Нет ли у тебя, доктор, резака крепче сего?» Подстрекаемый этим особенным презрением, я быстро накинул платье. Доктор, нетерпеливо постукивая каблуком, ждал меня. Петух сидел бездвижно, и если б не его глаза, то вы б подумали, что на руке доктора сидит чучело. Торопливо покинув комнату, мы — еще более торопливо — почти бегом, устремились коридором. Молча, по лестнице, глядя на выходную дверь, с мертвенно-вялым лицом спускался Жаворонков. За ним плелись старушонки, жена, дружно, с внезапным натиском, скатились тощие дети. Затем пробежал, опережая нас, Тереша Трошин с кучей гостей с заспанными лицами и картами в руках. От них несло вином, они что-то еще жевали,— и все они смотрели пристально на дверь, словно желая ее опорожнить, как незадолго перед тем опоражнивали бутылки! Показался Насель в гладко выутюженных брюках, окруженный уймой родственников. Ларвин с велосипедом и обнаженной финкой, с финкой тоже и с тортом в руке брат его Осип, мамаша их Степанида Константиновна с запахом иодоформа, с баночками медикаментов; Людмила — подмигивающая и подсматривающая — с губами сводницы и отъявленной стервы, из карманов ее сыпался овес; Сусанна, холодная, безвольная, в туфлях на босу ногу и пальто внакидку; старик Мурфин, багровый и задыхающийся; нырнул и скрылся Савелий Львович, и, напоследок, я увидел Мазурского и за ним четырех стройных молодцов в спортивных костюмах и с кулаками величиной с хороший табурет. «Лебедевы,— подумал я,— да и Мазурский, видимо, пошутил — остался в Москве». Шли не только перечисленные, но и вокруг каждого теснилось — на три, на четыре стороны — много чужих, но все-таки чем-то знакомых людей, должно быть, из тех, которые приходили сюда ночью с узлами, которые вкатывались на грузовиках ночью,— неискоренимые! — грузили в подвалы, на чердак, приводили пьяных извозчиков и жадных мужиков с тощими глазами. Светало. Где же Черпанов? Давно людской поток широко лился на двор, а коридор все еще был полон. Розовато-голубой с каким-то фарфоровым блеском преувеличенно настойчиво превозносил свежий воздух, показывала двор и булыжник — распахнутая дверь. Вдруг мы остановились. Трубное урчание пронеслось по толпе. В голубом четырехугольнике показался доктор Андрейшин. «Пожалуйста!» — воскликнул он отменно-протяжно. Когда он ускользнул от меня? И почему все нет и нет Черпанова? И опять я подумал: «Да не во сне ли это все я вижу?» И хотя у меня имелись спички, но я попросил их у соседа. Тот сунул мне их, не глядя на меня, а рассматривая розовато-голубой четырехугольник, где спиной к булыжникам, тряся петуха возле плеча, стоял доктор Андрейшин. Я закурил и нарочно держал спичку до тех пор, пока она мне обожгла палец. Отвратительный табак и волдырь совершенно разуверили меня, исчезла мысль о сне, но снизу, сознанье истощая, накинулось: «А не глава ли он какой-нибудь мистической секты? Да не простой, а с древними ритуалами. Петух! При чем здесь серый петух?» С тех пор, как я его узнал, он всегда проявлял редкую ненависть ко всему мистическому и метафизическому, но мало ли найдешь людей, которые говорят одно и кои думают: обведем, будет ладно и ладан будет. Я начал искать Черпанова. Он, плохо выспавшись, стоял у дверей ванной, сплевывая и почесывая о косяк спину. Я — к нему. Шаг. Другой. Дальше: пустая ванная, и от воды пар. Какой смысл из этого всего выбирать? «Пожалуйста!» — еще раз прокричал протяжно доктор и скрылся. Толпа хлынула, увлекая меня с собой. Ни около, ни близ, ни внутри — нигде не нашел я Черпанова. Широкий двор, подчищенный, разряженный крупной осенней росой, но в то же время чем-то бесстыжий и наглый, мгновенно сплошь наполнился толпой. Особенно густо набилось вкруг доктора. «Егор Егорыч, да вы поближе!» — крикнул он мне. Я протискался. Доктор поднял нож,— страстное любопытство отразилось у всех на лицах,— петух наклонил голову, и я утверждаю, что он, поморщившись, чрезвычайно неохотно закрыл глаза. Доктор взмахнул ножом. Вздох, тихий, выстраданный и какой-то вывихнутый, проплыл по толпе. Но доктор,— признаюсь, я плохо разглядел,— промахнувшись, что ли, полоснул петуха меж ног.

Петух взмахнул крылом, бессовестно и дерзко топнул ногами, повел плечом, фыркнул,— уверяю вас,— фыркнул. Два белых жгутика — половинки распоротого платка — упали на землю. Пе-

тух вскарабкался на плечо доктора, еще раз фыркнул — и через головы толпы — перелетел к распахнутым воротам, где некогда доктор пытался сковырнуть скансовые усы Леона Черпанова. Толпа молча хлынула к воротам, нога в ногу,— к петуху. Петух — шаг вперед. Толпа споткнулась. Петух присел. Выпрямился и чинно зашагал переулком. «Лови!» — крикнул чей-то трубный голос. Я кинулся. Я услыхал за собой мягкий топот многих ног. Я, не оборачиваясь, бежал. Помню, мне страстно хотелось поймать петуха. Но уже населевские родственники, стараясь пересечь путь петуху, далеко забежали вперед. «Пускай его бежит»,— думал я, однако опережая всех и уже протянув руку, дабы схватить его за огненный хвост. Петух чуть-чуть приостановился и выкатил на меня такой умный человеческий взгляд, что руки мои опустились, я остановился — и толпа далеко оставила меня за собой. Замедлив шаги,— тем более что я сильно запыхался,— я имел теперь возможность оглядеться. Мы уже находились на Остоженке. Брыкаясь и украшая бег бранью, выскочили трошинцы, на ходу засовывая карты в карман. Петух несся далеко от нас, потрясая огненным хвостом и широко разбрасывая ноги. Трошинцы раскраснелись, капли пота катились с висков. «Лови! — легонько оттолкнув меня, проскочили трошинцы, добавив: — Рутина! Отстаешь, а в деревне что скажут?» Дурацкий этот упрек подействовал на меня странно подкрепляюще. Я, уже не чувствуя усталости, опять кинулся, вначале твердя про себя, что ко всякому делу самое важное—привыкнуть, остальное зависит от таланта, затем более важное — проспаться. Да и что размышлять? Помочь размышления не помогут, а ноги спутают. Меня кое-где обгоняли, то я кое-кого обгонял. Там отстал Трошин и его трошинцы, теперь они мелкой рысцой трусили возле меня, ощипанные какие-то и запыленные; здесь вперед выбежала Степанида Константиновна, мелькнуло алебастровое лицо Сусанны и карельской березы ее локон, тонкие губы Людмилы — но сдали, отстали; тут опередил всех, возле храма Христа Спасителя Жаворонков, в руках его я увидел перочинный ножик, искореняющий зло возглас вылетел из горла! «Этот прирежет, поймает»,— подумал я, но — чудное дело! — и Жаворонков к серому петуху не ближе, чем остальные. Петух! Допустить бы ему нас еще шага на три,— и готово, а куда там и на пятнадцать он прибавлял такого шагу, так махал искрами своего хвоста, что самый застарелый пот вылазил с самого нутра и струился непрестанно от ушей до пяток. А тут еще различная рухлядишка на руках, поневоле отстанешь. Мы страшно сердились и обижались друг на друга, если кто перегонял — куда ему, дураку, идти вперед? — а раз перегонял, общая тревога, ругань наша, сменялись благожелательством и даже заискиванием: мы спешили перекинуть ему ножик. Уже по городу двинулись трамваи, я думаю, было начало пятого; я не могу восстановить точно, потому что часы Пречистенской площади завешены были почему-то номером «Известий», уже последние грузовики вывозили

Рисунок
Валерия
КАРАСЕВА



из-за дощатой ограды вокруг храма Христа Спасителя «облагороженные» детали древнерусского стиля; уже на классических формах купола попригнездились рязанские и пензенские мужики, сортируя отбросы; уже из окон трамваев раздавались в наш адрес до конца изнеможенные возгласы: «Я понимаю мертвеца пропустить, автомобиль, но надоели нам пробеги!» В трамвае, наверное, до того их давили, что петух,— к слову сказать, покрасивевший очень от бега,— не пробуждал ни негодования, ни даже внимания, разве что слаб был выбор ругани, предназначенной для птиц. Подумают, бежали мы сломя голову! Бежали мы, я б сказал, деловым бегом, который как будто бы и бег, а поприглядеться — и не бег. Да мало ли, к чему надо попригля деться, мало ли где попригнездиться и мало ли кого поприголубить!

Не спорим, Егор Егорыч, не спорим,— приглядитесь! Москва, она еще среднего роста, но она упирается уже в тысячелетнее величие, уже многие будущие века она омеблирована советскими скамьями и воздвигла трибуналы. Москва! Иной уже нет, иная есть, иная будет. Москва! Видеть ее, поздороваться, пожать ей руку, прежде чем ее расхлябанность и рыхлость, ее пыльность улиц зальется асфальтом,— уже поздно. Вот Егор Егорыч выбегает на площадь, где был Охотный ряд, еще он помнит и церковь Параскевы Пятницы с ее удивительно подобранными колоколами, ему б полюбоваться дольше, но он, ощущая сегодня удивительную легкость, уже выскочил, вслед за серым петухом, на Театральную площадь, к Дому союзов, где в зале с колоннами, похожими на стеариновые свечи, а люстры на догорающий бенгальский огонь, уже заседает

очередной съезд, уже стоит перед микрофоном докладчик, за его спиной диаграммы, выше портрет вождя. Делегаты записывают, а доклад идет или о стачке где-нибудь в Силезии, об эксплуатации цветного труда на Гвинее, или о постройке электростанции у сердца Памира, там, где за две сотни километров за горами, стоит, прислушиваясь к шелесту красных знамен, Индия. Вы помните этот год, когда Москва внезапно покрылась пленкой лесов, как бы желтоватой вуалью; когда ринулись ночами к этой вуали телеги, выгоны и грузовики с кирпичом, цементом, деревом; какие картинные возчики в оранжевых балахонах от кирпича сидели на возах; как в закоулки вылезли рельсы, голубая сварка визжала над ними!.. Пусть через столетия покажутся наивными — (так же как и эти строки) — все эти машины, черпающие и перевозящие землю; эти заводы, обрушивающие на нас металл, выжимающие из человека отвратительное покровительство прошлого; эти самолеты, это оружие; эти танки, и эту конницу, пусть, но никогда человечество не увидит такого умения и жажды напрячь свои силы, таких трогательных истоков героизма!..

Петух свернул на Тверскую!..

Петух повернул на Тверскую!!

Тверскую!!!

Извините меня, дорогой составитель, что я столь нагло прервал ваши размышления. Помимо того, что вы влезли в роман, присвоив самый отборный кусок, который я хотел приберечь для себя (мы с вами близки, но не до такой же степени!) и вы еще изводите нас прорицаньями и со всем тем петух, действительно, повернул на Тверскую. Прекрасно, мы еще лучше изловим тебя на Тверской, прекрати широко шагать! Уткнись в здание почтамта, его силуэт вырезан прежде, чем революция решила дописывать до конца далекий образ пятилетки; здесь долгие годы стояли развалины, ютились беспризорники и бандиты, и как раз относительно этих развалин Б. Пильняк утверждал когда-то составителю, что здесь на него, Б. Пильняка, писателя, напали бандиты и вернули золотые часы, узнав, что он писатель и, главное, видимо, считая его за отличного писателя! Сколь чувствительны наши бандиты! Однако петух, услышав о Б. Пильняке, переметнулся через голову и забежал в Камерный, где, остановившись перед Художественным театром, крикнул: «Ку-ка-реку!» — Но они еще спят, эти великие актеры: Станиславский, Качалов, Москвин, Хмелев, Баталов, Ливанов и другие, иначе б они непременно вышли, непременно полюбовались бы этой странной толпой, этим удивительным петухом с человечьим взглядом, не только б сумели отобрать для себя что-нибудь поучительное и полезное, но и в этом петушином взгляде они б обнаружили нечто поприбодряющее; нечто от уловок зверя и лукавства человека, словом, какое-нибудь новое доказательство, новую возможность нафаршировать вдоволь свою систему. Пустые отговорки! Петух бежит дальше. Вот выемка: багровое здание Моссовета, статуя Свободы. Отсюда начинают клики манифестанты, здесь пробуют голоса, здесь уютно и тепло крикнуть — да здравствует! — чтобы затем пронестись в каком-то ошеломляющем урагане по Красной площади — и ничего не запомнить, а увидев фотографию вождей, глядящих с Мавзолея, машущих фуражками, попрекать: почему ты не видел эту фуражку, шляпу, эти брови, эту руку с саблей, эти трубы оркестра, словно переплавляющие солнце! Люблю я Страстную, памятник поэту, которого наивный скульптор превратил в великана, люблю, пройдя, взглянуть на решетку Музея Революции, а затем выйти на кольцо «Б»...

«А ведь, знаете, тяжелая штука — секретарь...»

Петух несется неудержимо. Отсюда, от кольца «Б», без отговорок разворачивается во все стороны заводская, лихая, фабричная Москва! Электричество, автомобили, аэропланы, текстиль, сталь, книги, недоговоренность проектов, лаборатории: от молний ВЭТа до крошечных колбочек любителя; ампирные особняки; деревянные домишки с палисадниками... Но ты, чье стальное сердце бьется неустанно, ты куда нас ведешь, петух? А он крутит, сворачивает, возвращается, кидается вперед — переулками, бульварами, улицами; вот мы промчались мимо Сухаревой башни, знакомые ринулись с рынка. «Куда, куда?» — кричат они нам, изумленно смолкая, потому что мы пробегаем мимо. «Нас не проведешь,— думают они,— тут найдется пожива!» И они устремляются за нами. Мы, не останавливаясь, обгоняем грузовики, трамваи, мимо везут кирпич, строят дома, мимо нас мелькают вокзалы, катят поезда, груженные шпалами, чугуном, лесом, гвоздями, везут хлеб, сено, мясо, тысячи свистков, тысячи рельсов, дорог, мостов, вокруг все строится, льется бетон, сталь, ползет нескончаемо текстиль...

Я призадумался. Куда он бежит? Уже перед нами Воробьевы горы, уже Нескучный сад прилег изворотливыми тенями. Здесь-то, среди березок, мы его и поймаем, петушка! Уже за полдень. Река согрета купающимися; сталкиваются лодки, гудит глиссер, мелькают пароходики, и чертовски хочется жрать, тем более что и река похожа на нож, коим перво-наперво режут хлеб. Окаянный петух мчится и мчится. Ежели он не остановится?.. По шоссе едут в город колхозники; уже вплетены мы в бесчисленные ленты огородов; уже наливаются сивые кочаны капусты, они похожи на растрепанные пакеты, которые идут из Камчатки в Тифлис, и находят там уже ликвидком, откуда их на всякий случай направляют в Москву, а последняя, слегка подумав, шарахает их в Ташкент, тот, скосив узкие глаза, гонит их в Ленинград, а из Ленинграда идут они, растопырив бока, многоглазые, круглоглазые, обратно на Камчатку, все-таки добившись слабого сходства с кочаном капусты. За кочанами — золотые кочаны Новодевичьего монастыря. Фу ты, штука какая, здесь бы попригорюниться, хватить бы насчет неудачной любви к курчавой ученице художника, прибывшей из Тифлиса и поселившейся у Новодевичьего, был у меня такой случай, да где там отмечать неудачи, успевай подбирать пятки, ибо петух заворачивает влево, перед нами встают Фили — петух опять влево. Кончено, я не могу больше бежать — пусть бежит, если хочет, составитель! — этак он черт знает куда добежит, до Кунцева, до Звенигорода или до Смоленска! Ага? Устал! Зевает!!! Нюхает по ветру! Петух остановился на Поклонной горе, изнеможенный и клубящийся паром. Близ него копает картофель деревянной лопатой рухлявая старушонка с крючковатым носом и желтыми височками. От усталости, что ли, но меня больше, чем судьба петуха, занимает: «Почему старуха роет деревянной лопатой и почему не взглянет на эту, прибежавшую сюда, громадную толпу?» А петух? У, противно и помыслить, что кто-то сейчас чикнет ножом по тоненькому горлышку — и судорожно ударят в землю серые крылья. Я совсем повернулся к старухе. «Гума-а-нисты...» — несся откуда-то рядом вежливейший шепот Савелия Львовича. «Да ну вас,— я ненавижу петуха, истинно! — режьте все же его сами!» Выбраться лучше на простор, погулять полями,— ради того я тронулся из толпы. Меня остановили, кто-то ласкающе повернул мою голову от старухи к петуху. Попризатихло. До самой смерти своей петух будет теперь окружен широким и плотным кольцом, похожим на хоровод. Мое плечо давят вниз. Ага! Мы приседаем на корточки, дабы петух не проскользнул между ног, а перемахнуть через нас у него нет сил — это ясней ясного! — он распустил врозь серые свои перья, его клюв раскрыт, он тяжело дышит, впрочем, глаза его по-прежнему умны и, пожалуй, еще умней. Я креплюсь, но все шире во мне распластывается неодолимое желание: пора отполоснуть эту маленькую голову, туда ей и дорога! И мы, словно вприсядку, полуползем. Круг уменьшается — и вот, когда кому-то лечь и сделать пилящее движение рукой, вдруг этот странный многолюдный хоровод разомкнул руки, низко склонил шеи и лбами коснулся земли, изрыгая препротивную почтительность. «И если мне тоже быть почтительным,— с озлоблением думаю я,— то перед тем, как лишиться остатков уважения, не надо ль взглянуть: кого ради я лишаюсь?» Я и поднял свою, уже почти склоненную голову. «Вот тебе и секретарь большого человека!» — шепчу и оторопело лишь для того, чтоб шептать.

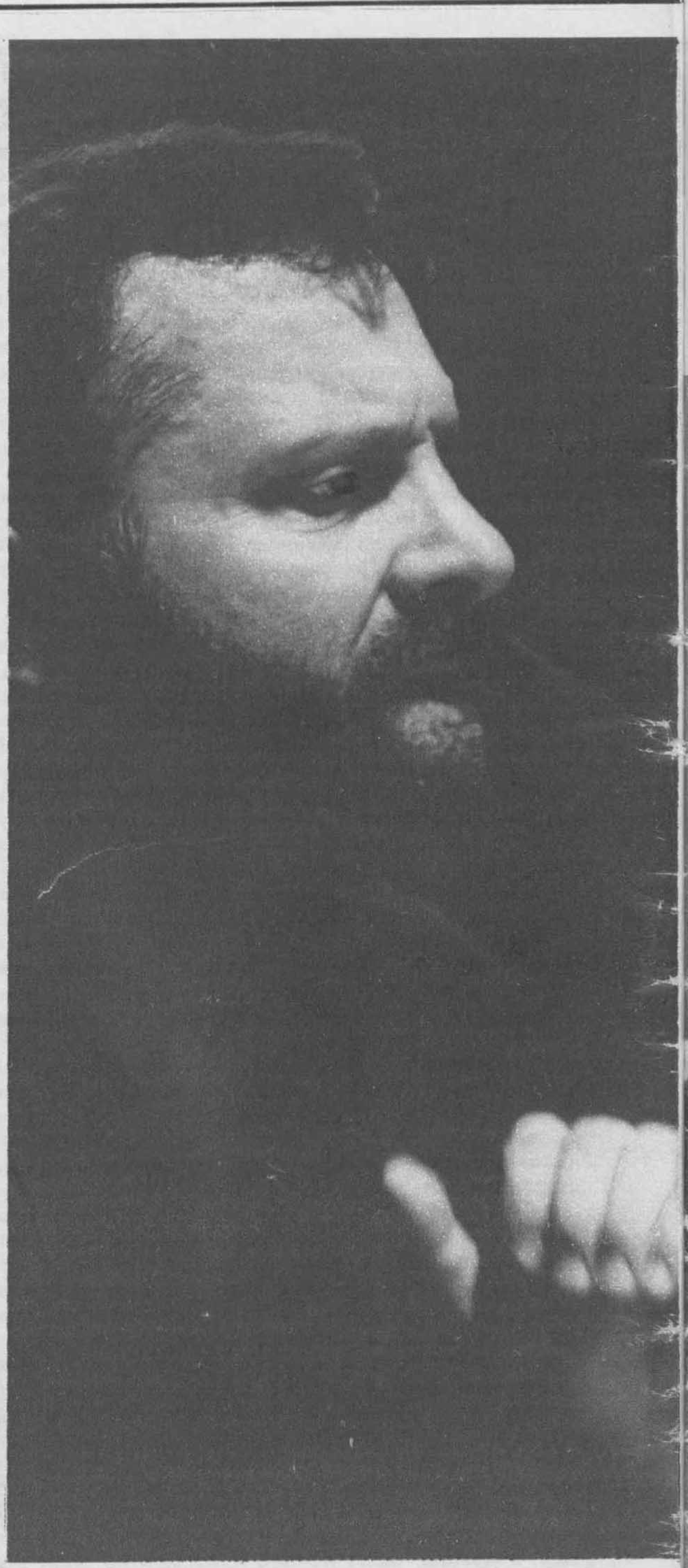
Петух стоит бодрый, веселый, выпрямившись, задрав голову. Одно крыло он заложил за спину, другое за серый борт сюртука, в разрезе коего виден крап белого жилета. Его гребень передвинут, кренится набок и принял явственные очертания черной треуголки, то есть в ее современном очертании.

— Егор Егорыч,— услышал я,— хватит спать. Ибо долгие сны похожи на то изречение бедняка, к которому ночью залезли воры: «Чего вы, идиоты, ищете здесь ночью, когда и днем здесь ничего найти невозможно». Кроме того, надо варить петуха.

— Петуха! — вскричал я, вскакивая и протирая глаза.— Чрезвычайно странный сон! А кто прирезал серого петуха?

Доктор сказал, что, к великому его сожалению, он не поинтересовался узнать, какого цвета был петух и кто его прирезал, ибо петуха на рынке он купил и ощипанного, и прирезанного.

Публикация Т. ИВАНОВОЙ.



АВАНСЦЕНА

ЧАСТО, КОГДА МЫ ГОВОРИМ О ПЕРЕСТРОЙКЕ, НАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ ДОЛЖЕН КТО-ТО ДРУГОЙ, В ТО ВРЕМЯ КАК СЕРЬЕЗНЫХ УЛУЧШЕНИЙ ТРЕБУЕТ КОНКРЕТНОЕ, ТЕБЕ ПОРУЧЕННОЕ ДЕЛО. И ЧТОБЫ ОСОЗНАТЬ ЭТО, ПОРОЙ ТРЕБУЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ГРАЖДАНСКОЕ МУЖЕСТВО. О ТРЕВОЖНОМ ПОЛОЖЕНИИ, СЛОЖИВШЕМСЯ В МОСКОВСКОМ ТЕАТРЕ НА МАЛОЙ БРОННОЙ, НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ МАРИЯ ДЕМЕНТЬЕВА БЕСЕДУЕТ С ГЛАВНЫМ РЕЖИССЕРОМ ТЕАТРА, НАРОДНЫМ АРТИСТОМ РСФСР ЕВГЕНИЕМ ЛАЗАРЕВЫМ.

— Евгений Николаевич, вызывает беспокойство, что руководимый вами театр на Малой Бронной в последнее время как-то затерялся на театральной карте Москвы. А ведь совсем недавно это был один из самых «громких» театров, символ хорошего тона, прекрасного вкуса. И в основном это определялось шедшими на его сцене спектаклями Анатолия Васильевича Эфроса. Сейчас, когда этот замечательный режиссер ушел от нас, мы понимаем горькую истину: больше спектакли Эфроса у нас не появятся. Поэтому так волнует судьба оставшихся его работ, они принадлежат не только театру на Малой Бронной, а

ИСПОВЕДЬ

всему нашему театральному искусству. Они — возможность для театральной молодежи встретиться с замечательным режиссером, эти спектакли хранят его мастерство, его взгляд на театральное искусство. Вот поэтому, прежде чем говорить о том, что происходит с театром на Малой Бронной, давайте выясним: куда же пропали спектакли Эфроса?

— Я пришел в театр на Бронной 26 апреля 1984 года и застал семь спектаклей Анатолия Васильевича. Надо сказать, что я принадлежу к числу поклонников Эфроса, занимался в его семинаре.

Теперь об этих семи.

«Наполеон I» распался из-за трудной «диспетчеризации» между театрами — главные роли играли Михаил Ульянов, который работает в театре имени Вахтангова, и Ольга Яковлева, ушедшая в театр на Таганке. Эфрос хотел переносить этот спектакль на Таганку, и Управление культуры просило нас отдать оформление. Мы согласились, и этот спектакль сошел. «Директор театра» находился под угрозой снятия вскоре после моего прихода, мне пришлось выдержать за него определенную борьбу внутри театра, и два сезона он был в афише. «Месяц в деревне» снят на телевидении и сошел после этого. В прошлом сезоне в приличном виде шли два эфросовских спектакля — «Женитьба» и «Дон Жуан». Потом из «Женитьбы» выбыла исполнительница главной роли А. Каменкова, сам Эфрос был против ввода другой актрисы. Он попросил меня: «Вводите кого хотите, но снимите мою фамилию, до меня доходят слухи, что спектакль теряет кондицию». Я довел это до сведения коллектива... В результате сейчас идет один «Дон Жуан».

Недавно состоялся худсовет, на котором я выступил с предложением восстановить спектакли Эфроса. Его смерть осветила все по-иному... Предложил пригласить играть Ольгу Яковлеву, Николая Волкова, Михаила Козакова, чтобы спектакли шли в первозданном виде. Большинство со мной согласилось. Но пока твердо решено восстановить «Женитьбу».

— Увы, вместе с постановками Эфроса ушел уровень, критерии. В результате у режиссеров, почти одновременно с вами возглавивших театры, появились яркие, заметные спектакли. А вот в вашем театре... А ведь прежде, в театре Маяковского, у вас были работы, получившие широкий резонанс: «Ящерица», «И порвется серебряный шнур», «Третья ракета», наконец, «Приятная женщина с цветком и окнами на Север» в театре Эстрады. В чем, по-вашему, причины?

— Конечно, мы слишком рано расстались со спектаклями Эфроса, не успев создать нового качества. И я отдаю себе отчет, что мне пока не удается на Бронной поставить спектакли такого звучания, как в театре Маяковского. Попытаюсь проанализировать ситуацию. Во-первых, театр неспокойный, а я человек эмоциональный. И «социальную роль» главрежа я практически не знаю, вот и делают со мной что хотят.

В театре Маяковского я находился в иной социальной мизансцене. Да, была и ревность со стороны Гончарова, порой он не давал мне кого-то из актеров. Но все равно он меня поддерживал, давал работать. Я был под его «крылышком», имел прочный тыл. Трудно проходил «Серебряный шнур» — и защитил Гончаров. Хотели снимать этот спектакль — защитил Салынский. В театре имени Маяковского вопрос стоял: ну, на худой конец, не выйдет спектакль. Здесь же сразу, с первого спектакля встал вопрос о снятии меня с должности главного режиссера.

Мой первый спектакль «Вы чье, старичье?» (который, кстати, я оцениваю достаточно высоко), мы сдавали три раза. Нам изуродовали, обкорнали пьесу, выбрасывая все, что можно и что нельзя. А комиссии все шли и шли и требовали: избежать указания точной суммы пенсии стариков! Избежать сравнения уровня жизни пенсионеров с режимом питания в исправительно-трудовой колонии! (При том, что повесть была напечатана!) И если в повести Васильева старики в конце доходили чуть ли не до самоубийства: «Обнимемся — и на рельсы!», то нам в спектакле поправили: «Обнимемся — и в Сибирь, на БАМ!» Ну, куда это годится! Тем более, что пьеса о том, как одиноки бывают порой старики, как бедствуют и что всем миром надо обратить на это внимание.

Короче, мне с самого начала подрезали крылья, ранили в сердце. Второй спектакль должен был решить мою судьбу. И я начал работу над «Солдатами не рождаются».

Я был тяжело травмирован после приемки первого спектакля. Репетировал практически неподготовленный, мне нужно было гнать план — выпуск «Вы чье, старичье?» затянулся почти на три месяца. В результате, когда выяснилось, что оформление не удалось, переделывать было некогда. Но я остался доволен атмосферой спектакля, работой Броневого, Каменковой, Сайфулина...

— И все-таки я пытаюсь понять вашу позитивную программу. Порой кажется, что вы пришли в театр, так до конца и не зная, что делать. «Детектив каменного века», «Пути-перепутья», «Раненый зверь» — все это вместе трудно определить как линию театра...

— Я не могу согласиться, что у театра нет линии. Для меня лично «Старичье» и «Пути-перепутья» — программа. Удались ли — дело другое... В том же русле «Левый мастер» А. Буравского — последняя премьера.

Но... шатало, конечно, шатало. Хотелось дать возможность труппе работать, чтобы у нас был театр высокой литературы и острой социальной проблематики.

— Но тем не менее уровень драматургии в театре на Бронной заметно снизился — например, «Раненый зверь» и «...любящий вас Коля» трудно назвать самыми удачными, сильными современными пьесами...

— Пьеса о Шмидте в основном хороша тем, что родилась в нашем театре, а также воспоминанием об этом замечательном человеке. Что касается «Раненого зверя», мы приняли его два года назад с восторгом. Но сейчас нам нужно начинать новый период, и я отдаю себе в этом отчет. Конечно, пьеса, конечно, первоклассная драматургия. В планах Достоевский, Шекспир, Лесков. Я думаю, что это будет долгосрочная программа. Сама жизнь показывает, что «злободневки» не проходят.

— А как у вас складываются отношения с труппой?

— В театре есть две сферы общения. Одна — это репетиции (недаром книга Эфроса названа «Репетиция — любовь моя»), здесь отношения строятся замечательно. Другая — собрания. И я не могу сказать, что собрания — любовь моя. Потому что иногда вижу такие глаза и такие лица... Но люди, которые бывают резки со мной на собраниях, часто очень творчески интересны на репетициях. А это искупает все. Только я очень боюсь, что собрания скоро отучат нас репетировать.

Сейчас очень важный момент — создание филиала. Занять надо всех. Никакими обещаниями, фантазиями, программами не убедишь актера, если он не играет.

Вообще мне кажется, что нынешняя демократия в театре может привести к исчезновению института главных режиссеров. Я не знаю, хорошо это или плохо. Для того чтобы стать главным режиссером, есть единственный нормальный путь: когда собираются единомышленники, среди них возникает лидер. Все остальные пути насильственные, противоестественные.

Когда я поставил в театре имени Маяковского свой первый спектакль, Гончаров сказал: «В театре появился лидер». Я ставил не по-гончаровски, атмосфера у меня на репетициях была другая, но диалектически я существовал рядом с Гончаровым, он за мной это право признавал. Был авторитет, за мной шла молодежь. Все было органично — двадцать три года актерской работы в театре. Назначение меня сюда было противоестественным. И теперь все зависит от того, как сложится, сколько хватит умения, здоровья, гибкости. Сколько движения навстречу будет, сколько сделаю ошибок.

Хорошо, давайте выбирать главных режиссеров. Но лидера разве нужно выбирать? Кому это придет в голову, если он возник? А если выбирать, то из кого? Не могут же все театры выбрать себе Ефремова! У нас вообще сейчас очень мало режиссеров! К примеру, попробуйте просто пригласить на постановку Гинкаса, или Хейфица, или Портнова, режиссеров, хорошо себя зарекомендовавших,— у них все расписано на три года вперед. Повторяю, у нас очень мало режиссеров. И в суматохе мы можем их совсем растерять. А ведь ставить спектакли будут не те, кто активно выступает на собраниях. А каждое собрание—сумасшедший стресс, волнения. А главные режиссеры — тоже люди, у них тоже нервная система, и достаточно подвижная и ранимая.

Часто, когда я разговариваю с другими главными, в последнее время возникает такая мысль: а не перейти ли на «вольные хлеба»? Вместо того чтобы отвечать за лицо коллектива, репертуарную линию, не спать ночей, думать, почему тебя колошматят твои «дети», не лучше ли гулять по какому-нибудь красивому городу, не торопясь репетировать с «первачами» труппы, получать хороший гонорар? Это спокойнее.

Я не берусь давать советы, есть головы похолоднее, чем моя, и все равно точного ответа в этой ситуации не знают. И все-таки институт главных режиссеров для русского театра что-то значит, всегда находится сумасшедший, который хочет этот сад растить...

— Мы поговорили о главном режиссере Лазареве. И теперь мне хочется спросить вас о прекрасном артисте Лазареве. Его судьба тоже волнует. Я знаю, что она беспокоит и вас, и поэтому, наверное, вы недавно обращались в театр Маяковского с просьбой о возвращении в его труппу. И я считаю, что театр Маяковского, не сумев преодолеть обид и отказав вам, поступил не по-хозяйски.

— Моя попытка возвращения в театр Маяковского была поступком прежде всего эмоциональным.

Сезон начался трудно. Произошли некоторые вещи оскорбительного характера. Я болел, и без меня состоялось собрание, где говорили о том, что мы стали театром районного значения,— об этом говорили труппа и администрация. Это было обычное собрание нетерпения, но тогда оно ударило больно... Упали сборы. И я подумал: стоит ли? Я подумал, как медленно реализуются мои идеи, как трудно все это сдвинуть, что, наверное, не хватит сил. Нервы сдали, и я пришел к Гончарову.

Наши отношения были непростые — случались и ссоры. Но я никогда не забуду, что лучшие мои роли сыграны в его спектаклях, что как актер я вырос рядом с ним.

Андрей Александрович пригласил меня к себе домой.

У нас состоялся большой разговор, я исповедовался. Такого разговора я припомнить не могу — ни с кем. Он сказал мне удивительные слова, дал ряд практических советов, в частности о жизни главного режиссера. Сказал, что такого актера, как я, у него нет, что мое место свободно. Но посоветовал не спешить: работайте с чувством спокойного тыла.

А в это время я был приглашен на трехсотую «Ящерицу».

После трехлетнего перерыва я вновь пришел в театр Маяковского. Мы ходили с директором театра по фойе, и он показал мне, куда вернут мою фотографию. Я посмотрел появившиеся за это время спектакли. Когда на «Нероне» Джигарханян заметил в зале меня, он рассказывал, что «выбился» на десять минут. Я сходил к ребятам за кулисы... Потом мы с Андреем Александровичем вместе смотрели удивительный макет «Заката». Словом, я вновь как бы почувствовал свою человеческую и художническую значимость, ощутил себя в ином «измерении». И решил — надо возвращаться.

Но это оказалось не так просто... В результате мне отказали.

Хотя все это было странно: я думаю, что возвращение блудного сына — сюжет не только библейский, он на все времена...

Конечно, я хочу играть и обязательно буду. Когда-то Гончаров предупреждал, что занятие режиссурой — начало расставания с актерской профессией. Он знает много о театре. Но здесь он ошибся: ставя спектакли, как актер я стал чувствовать себя лучше, как говорят в футболе, стал лучше видеть поле. И самые удачные мои роли — Подхалюзин, Чарнота, Лютов — сыграны после того, как я стал заниматься режиссурой. Придя в театр на Бронной, я резко оборвал. И вдруг стал чувствовать, что «проседаю». Когда с Яшиным репетировал Ломоносова, понял, как сильно потерял форму. Сейчас от спектакля к спектаклю наверстываю. Конечно, буду играть.

«НОВЫЕ МЕТОДЫ» ЗАЩИТЫ

В ЭТОМ ГОДУ «ОГОНЕК» ДВАЖДЫ ОБРАЩАЛСЯ К ВОПРОСУ О ПРЕСТИЖЕ АДВОКАТУРЫ — В ВЫСТУПЛЕНИИ М. МУРАВЬЕВА «В ЗАЩИТУ ЗАЩИТНИКА» (№ 11) И В ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ Г. ВОСКРЕСЕНСКОГО (№ 16). РЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИЛА МНОГО ОТКЛИКОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ, ЧТО ПРОБЛЕМА ЭТА НЕОДНОЗНАЧНА. КАК И САМА ФИГУРА ЗАЩИТНИКА. МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР, ОБРАЩАЯСЬ К СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ И ВЗГЛЯДАМ НА ЭТОТ ВОПРОС РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ.

Андрей КОМАРОВ

Последнее время в печати появилась серия выступлений о проблемах защиты, ее месте в нашей социалистической правовой системе. Выступлений острых, проникнутых беспокойством за сохранение и развитие основ законности. И в то же время на удивление мало — на это обращают внимание авторы писем в редакцию — публикаций по проблематике работы следователей прокуратуры во всей ее остроте. В беседах со мной следователи с огорчением замечали: как-то понемногу создался их извращенный образ — этаких «правовых нигилистов», с которыми вступили в неравную борьбу защитники законности — адвокаты. Заметим, что достоянием гласности стало много, увы, судебных ошибок. Но, думается, однобокость оценок здесь только повредит. Попробуем же разобраться в том, что мешает сейчас единым действиям следствия и защиты. И что это за «борьба» между ними? Всегда ли ведется она во имя достижения истины, против людей и явлений, тормозящих демократическое обновление нашего общества?

Вот что пишет в своем письме следователь прокуратуры Частинского района Пермской области Я. Тариев: «По выступлениям адвокатов в печати создается впечатление, что только защита борется за истину, что судебные ошибки допускаются именно из-за ущемления прав защитника. Уверен, истина в равной степени нужна всем участникам процесса. Если адвокат добросовестно исполняет свой профессиональный долг и не пытается любыми средствами добиться «оправдания» своего подзащитного, то, на мой взгляд, адвоката можно и нужно допустить к участию в деле с момента предварительного следствия. Но ведь есть факты, когда адвокаты злоупотребляют своими правами и возможностями, организуют понуждение свидетелей к даче ложных показаний, а также используют множество других приемов и даже ведут «следствие» против следствия. Сейчас многие высказываются за повышение гонораров адвокатам. Если в зависимости от реально затраченного труда — правильно. Но для начала нужно разобраться с нетрудовыми доходами в виде вознаграждений от подзащитных.

И еще. Каким образом адвокат может способствовать установлению истины, если его труд оплачивает обвиняемый? К тому же адвокат, как и обвиняемый, может менять свою позицию, не неся за это никакой ответственности. Отсюда неравенство между защитником и гособвинителем».

Краткость приведенных выдержек из письма Тариева, как выяснилось, вовсе не означала, что его точку зрения просто и быстро окажется выверить. Каждая беседа со следователями, изучение уголовных дел постепенно выявляли штрих за штрихом, но не рискну сказать, что сумел составить полную картину проблемы. Во всяком случае, прояснилось многое, появились нюансы, достойные, на мой взгляд, обсуждения вслух.

Как и Я. Тариев, все следователи и руководящие работники прокуратуры, с которыми пришлось обсуждать проблемы защиты, определенно высказываются за участие адвокатов в предварительном следствии. Но... Некоторые адвокаты, например, московской городской и областной коллегий, фигурируют в последнее время в уголовных делах не защитниками, а подсудимыми. Многие уже осуждены на разные сроки лишения свободы. За что? За подстрекательство к взятке, взяточничество, мошенничество. Несколько подобных дел прошло недавно в Краснодарском крае — только адвокаты были уже не в одиночестве, а в «связках» с судебными и прокурорскими работниками.

Вот типичная фабула «адвокатского» дела. Бывший московский адвокат Дубинин, защищая граждан Фильченко Ю. П. и Гладилова В. Г. по обвинению в хищении железнодорожных шпал на сумму, не превышающую 100 рублей, требовал у них 2 тысячи рублей за «благополучный исход». Дело дошло до того, что обвиняемые обратились в городскую прокуратуру с заявлением о подстрекательстве к даче взятки должностным лицам правоохранительных органов. Дубинин был осужден на пять лет лишения свободы.

Что и говорить, гонорары защитников невелики, часто несоразмерны вложенному труду, степени опытности адвоката. Но как не согласиться с Я. Тариевым, что финансовая зависимость от подзащитного делает «закрытой» и без того неупорядоченную систему оплаты защитников. С одной стороны, удовлетворитесь ли вы получением за кропотливую работу над пухлыми томами дела двадцати — тридцати рублей, а ведь это зачастую именно так, правда, в основном для рядовых, «безымянных» адвокатов. С другой стороны, только попасть на консультацию к иному адвокату «с именем» — 50 рублей «верха» в лучшем случае. Размеры «верха», конечно, не объявляются широковещательно, сведения эти — результаты, говоря языком, соответствующим случаю, неофициальных контактов. Не будем искать веских подтверждений размерам «верха», обратимся к сведениям абсолютно достоверным. Бывшие московские адвокаты Полиектов, Бойко и Пичугина, осужденные на разные сроки лишения свободы несколько лет назад, получили от подзащитных взятки на общую сумму 135 700 рублей. Сейчас в судах рассматриваются уголовные дела еще двух московских адвокатов.

Если кому-то покажется, что приведенные факты «работают» против идеи расширения прав защиты, скажу сразу: нет. Не пытаются воспользоваться ими для этой цели и следователи прокуратуры, понимая, что брак бывает в любой работе, в том числе, как уже говорилось, и в следовательской. Беспокоит работников прокуратуры другое: отдельные, казалось бы, явления начинают приобретать характер некой системы. Следователи, занимающиеся правонарушениями адвокатов, называют ее «системой новых способов защиты». Суть ее в деятельности некоторых представителей защиты фактически против нашего правосудия. По некоторым делам, с которыми мне была предоставлена возможность ознакомиться, создается впечатление, что иные адвокаты в контакте с преступными элементами активно пытаются создать методы обороны против предварительного следствия.

Это проявилось, например, в уголовном деле, проведенном Прокуратурой РСФСР в 1984—1986 годах, о системе хищений государственных средств в особо крупных размерах, взяточничества, массового обмана покупателей в организациях и предприятиях Главторга Москвы. Из этого процесса были выделены дела бывших адвокатов Бойко, Полиектова, Пичугиной, Сафронского, о которых уже говорилось. «Новые методы защиты» в их интерпретации (некоторых их коллег, действующих и сейчас,— тоже) заключались в опорочивании деятельности органов предварительного следствия — приписывании им недозволенных способов получения показаний и доказательств, в противозаконных способах защиты. Часто немалую помощь этому косвенно оказывала и судебная волокита. За это время заинтересованные лица и недобросовестные адвокаты склоняли (склоняют и сейчас) свидетелей и подзащитных к изменению показаний. Иными словами, всеми способами «ломают» или «взрывают» дело. Примером того, как это делается, может послужить письмо москвички Ю. Ф. Ледник: «Побывав на заседании Верховного суда РСФСР, я убедилась, как трудно следователям вытащить «за ушко и на солнышко». Разбиралось дело адвоката Сафронского. Как же трудно было свидетелям говорить правду в обстановке, где мне лично было непонятно, кого судят — уж не свидетелей ли по делу, у которых обязательно есть больное место. Вопрос ко мне защитника, не относящийся к делу, а относящийся к моему сыну (он в колонии), я поняла как явный намек: мол, сыну в колонии может не поздоровиться. Иначе зачем защитнику Сафронского понадобился адрес колонии, где находится мой сын?! Потом, после моих показаний, домой раздался анонимный звонок: намекали, что могу и не дождаться сына».

«Взрывы» и «ломки» чаще всего устраиваются по отношению к делам, связанным с крупными нарушениями,— тем, которые начали всплывать с апреля 1985 года. Похитители шпал и прочая «мелочь» почти не вызывают активности «ломщиков» и «взрывников». Дела-то копеечные... Хотя иной раз копейки, видно, совсем не рубли берегут, а суммы поболее. Иначе как объяснить, что в одних свидетельских показаниях адвокат С., например, характеризуется как «адвокат, который защищает воров-карманников»? И далее — другой свидетель: «...большинство воров-карманников, неоднократно судимых по делам, которые вел С., то есть осуществлял защиту, получали небольшие сроки наказания».

Следователи, которые вели и ведут уголовные дела адвокатов, в частном порядке рассказывали мне, что в системе «новых методов защиты» стали появляться действительно неожиданные методы, верить в которые им не хочется, но... На допросах подследственные адвокаты угрожали «связями, которых достаточно, чтобы вас прижать к ногтю». В личных беседах защитники подсудимых, некоторые их коллеги, пытаясь давить на следователей, ссылались на авторитет конкретных печатных органов, на будущие их выступления, после которых не поздоровится. «И вот что удивительно,— сокрушались мои собеседники,— кое-что совпадало впоследствии с содержанием угроз. Конечно, это может быть именно совпадение... Да и обвинение на факте беседы или незапротоколированной угрозы «под занавес» не построишь». Дела не заводили, но о подобных случаях писали рапорты. Только действительно доказывать это трудно, почти невозможно, и дела «адвокатские» непростые, долго идут, в отвлекающей атмосфере «ломки», глядишь, свидетель изменил показания, глядишь, следователя перебросили на другой участок по каким-то причинам. А то еще появляются замечания о «вопиющих нарушениях законности» в этих делах. Хотя вопиющими представляются со стороны факты судебной волокиты, кулуарной обработки свидетелей некоторыми адвокатами и, как результат, массового отказа от показаний на предварительном следствии.

А что касается защиты защитников, то о ней пекутся не только «строптивые» адвокаты, порой забывающие о своей строптивости в обстоятельствах более чем настораживающих; о ней пекутся и следователи, угодившие последнее время в разряд «мракобесов с дипломами», как выразился на страницах печатного органа один из выступавших по проблемам социалистической законности. Выразился справедливо, но по конкретным адресам, а не по отношению ко всем работникам прокуратуры.

Увы, приходится снова повторяться, объясняя, казалось бы, очевидное — ведь идут и идут письма: «Ну и прокуратура...» Но нельзя по Бойко, Пичугиной, Полиектову и другим судить: «Ну и адвокатура...» Нужно искать эффективные решения проблем защиты в ходе следствия. Подробную разработку своего варианта прислал в редакцию старший советник юстиции В. И. Олейник. В частности, он предлагает:

1. Дополнить статью 34 УПК (уголовно-процессуального кодекса) понятиями «адвокат», «защитник».

2. Ввести в УПК отдельную статью, определяющую перечень законных средств, способов защиты, используемых адвокатом на предварительном следствии и в суде, с указанием на недопустимость любых других противозаконных средств и способов защиты, направленных против всесторонности и объективности расследования.

Уже по некоторым предложениям В. И. Олейника (остальные приводить не стану из-за их чрезмерной для читателя юридической специфики) видно, что их автор считает: расширять права защиты необходимо в неразрывной связи с расширением ее ответственности перед законом. А еще эти предложения, письмо Я. Тариева, множество интересных и оригинальных суждений, услышанных мною в беседах со следователями, показывают, что работникам прокуратуры небезразличны проблемы защиты и они готовы к диалогу по ним.

Не случайно, что именно сегодня возник и обсуждается вопрос о правах защитника: он в контексте демократических перемен, происходящих в стране. Но решать его необходимо, заботясь прежде всего о преумножении роли нашей правоохранительной системы в укреплении социального единства советских людей.

НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «ХУДОЖНИК» РАСКРЫТ ЖУТКИЙ ЗАГОВОР ПРОТИВ РЕАЛИЗМА. В НЕМ УЧАСТВУЮТ, ЕСЛИ ВЕРИТЬ НАПИСАННОМУ, РАЗЛИЧНЫЕ СОВЕТСКИЕ ЖИВОПИСЦЫ, КРИТИКИ, А ТАКЖЕ ОРГАНЫ ПЕЧАТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ «ИСКУССТВО», «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА», «МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ», «ОГОНЕК», «ТВОРЧЕСТВО», ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ ХУДОЖНИК»...

ВЛАСТЬ ДОГМАТА

Александр КАМЕНСКИЙ

Никаких шуток. Статья Б. Вишнякова, опубликованная в № 4 журнала за этот год, названа вполне серьезно и даже с некоей агрессивной оборонительностью — «В защиту реализма».

От кого и почему вдруг понадобилось в нашей стране защищать реализм? Все дело в том, как его понимать. Если как искусство, воссоздающее правду жизни, то на его стороне безоговорочно все лучшее и ценное в творческой практике советских художников. Если же сводить реализм к внешнему жизнеподобию (и только к нему), к «реализму формы», как пишет Б. Вишняков, то оппозиция окажется весьма основательной. Ведь такое грубо ограничительное толкование творческого метода ведет к угрюмой догматической групповщине рапповского толка, когда вместо широкой консолидации талантов складывается ситуация злобной травли консерваторами всего новаторского, смелого, недюжинного.

Если развернуть «заговорщические» тенденции, на которые ополчается Б. Вишняков, в обратной исторической перспективе, то их начало будет отнесено к эпохе Октябрьской революции. Именно тогда, сообщает статья в «Художнике», утверждались «формалистические принципы живописи, что объективно тормозило процесс становления советского реалистического искусства».

Не знаю, может быть, это такой особый способ подготовки к празднованию 70-летия Октябрьской революции, но в последнее время стало даже как-то модным набрасывать густую, мрачную тень на созданное этой великой эпохой прекрасное искусство, основу советской классики.

Так, в отчетном докладе на VI съезде художников РСФСР было сказано следующее: «Хочется обратить внимание на то, что в наши дни перестройки повторяется почти буквально ситуация в искусстве первых лет революции. Вы, конечно, помните, что тогда левые силы, руководимые молодыми, горячими ниспровергателями реалистических традиций, объявляли новыми, революционными различные формалистические направления. Между тем эти направления возникли отнюдь не на новой волне революции, но так же, как и сегодня, в предшествующие годы общественного застоя. И «Черный квадрат» Малевича, и «Красное пятно» Кандинского, и все принципы формалистического искусства того времени были в действительности глубоко чужды революционным преобразованиям, неся в себе концепционное отрицание гражданского идейного искусства, свойственное мелкобуржуазной стихии».

И это все, что сказано о художественном наследии Октябрьской эпохи! Какая несправедливость, какая дикость! Упомянутый в докладе «Черный квадрат» Малевича написан в 1913 году, Кандинский в годы революции как художник был практически незаметен. Но именно в эти годы искусство России создало подлинные шедевры, полные гражданской страсти и высокой красоты. Как можно о них не упомянуть в такой связи?! Ведь это знаменитые памятники начатой по идее Ленина «монументальной пропаганды»: «Пламя революции» В. Мухиной, статуя Свободы Н. Андреева, мемориальная доска «Павшим в борьбе за мир и братство народов» С. Коненкова, «Башня III Интернационала» В. Татлина. Это соединившие традиции народного лубка и лаконизм современной графической формы, абсолютно новаторские «Окна РОСТА» В. Маяковского, М. Черемныха, В. Лебедева, призывные плакаты Д. Моора, В. Дени. Это пронизанные бурной романтикой и светлым пафосом революции великие картины «1918 год в Петрограде» К. Петрова-Водкина, «Новая планета» К. Юона, «В голубом просторе» А. Рылова, «Корабли. Ввод в мировой расцвет» П. Филонова, «Большевик» Б. Кустодиева, «Героический натюрморт» П. Кончаловского и другие. Это вдохновенное, мощно воплотившее идеи Октября оформление городов в дни революционных праздников, полная философской глубины графика В. Фаворского и В. Чекрыгина, знаменитый революционный фарфор... Как можно замалчивать все это замечательное, богатейшее наследие?! Да, оно насквозь новаторское, в нем смело и остро воплотились невиданные ранее, выдвинутые временем образные принципы и обобщения. Но то, что чуждо и неприемлемо для тупого догматизма, близко и родственно самой душе Революции.

Злокозненным противником реализма считает Б. Вишняков «суровый стиль» — направление в советской живописи конца 50—60-х годов. «...нельзя забывать,— раздраженно восклицает он,— об очень серьезных ошибках идейно-художественного характера, совершенных под влиянием концепции «сурового стиля». Что же это за ошибки, хотелось бы знать? Суровый стиль возник под прямым воздействием той общественной атмосферы, которая сложилась в нашей стране после XX съезда партии. Он решительно отверг парадность, лакировку, «аплодисментный» псевдооптимизм, поставил своей высшей целью изображение жизненной правды в ее подлинном, неприкрашенном виде. Б. Вишняков конфузливо не называет мастеров этого стиля, ибо очень уж они значительны. Ведь с «суровыми» тенденциями связана молодость В. Попкова, П. Никонова, Т. Салахова, М. Савицкого, Вик. Иванова, Н. Андронова, А. и П. Смолиных, А. Васнецова, Д. Жилинского, П. Оссовского, Т. Нариманбекова, М. Аветисяна... Гордые, славные имена, они вспоминаются в связи с выдающимися достижениями нашей живописи последних десятилетий. Что же не устраивает Б. Вишнякова в «суровом стиле», жестокую травлю мастеров которого он некогда направлял, будучи главным редактором «Художника» в начале 60-х годов? Оказывается, «суровые» позволяли себе слишком много условных, обобщающих приемов, избегали описательных подробностей, охотно применяли лаконичные формы, конденсацию цвета, отличающуюся от натурной. Критики, которые поддержали такую условность во имя правды образного итога, возмущают автора статьи. «Отсюда,— совершенно всерьез пишет он,— один шаг до теоретического обоснования абстракционизма как разновидности так называемого «реализма XX века».

Как же, как же... Попков, Салахов, Смолины — это, изволите видеть, кандидаты в абстракционисты. То ли дело «парадные» холсты, которые Вишняков в былые времена провозглашал наилучшим образцом реализма. Слащавое холуйство никаких там условностей не допускало, смесь умильных ликов и лживого славословия выглядела как есть «в формах самой жизни»...

К числу опасных врагов реализма Б. Вишняков относит и «семидесятников», советских живописцев, вышедших на художественную арену в 70-е годы. На этот раз автор статьи — через цитату — называет имена: Т. Назаренко, Н. Нестерова, О. Булгакова, А. Ситников, А. Волков, В. Рожнев, И. Орлов. Их творчество Б. Вишняков определяет как «процесс очевидной художественной деградации группы художников». Кому это очевидной?! Многих из названных сейчас мастеров нет нужды представлять читателям «Огонька» — в нем совсем недавно были помещены публикации, посвященные Т. Назаренко, О. Булгаковой, А. Ситникову. И эти живописцы, и их коллеги на редкость талантливы. Они принесли с собой в наше искусство новую поэтику метафор, гротеска, диалогов с историей, театральной зрелищности, помноженных на виртуозный артистизм исполнения. Само собой, можно спорить с какими-то отдельными решениями этих художников — это уже дело вкусов и убеждений. Но совершенно очевидно, что они внесли в советское искусство немало интересного и ценного. И не только в области живописной формы, эффектной зрелищности. Я был недавно в Одессе на персональной выставке Татьяны Назаренко. Там было представлено около сорока сюжетных композиций, которые содержат глубокие и серьезные размышления о нашей жизни, о преемственности в истории, о современном понимании красоты. Блестящая выставка! Работы Назаренко, так же как и других талантливых «семидесятников», — это подлинное достояние искусства наших дней. Бормотать, толкуя о нем, о какой-то «деградации», и только потому, что художники обладают великолепной фантазией и в своих мечтательно-романтических произведениях отклоняются от буквального повторения «форм самой жизни»,— это такой замшелый догматизм, который, казалось, навсегда ушел в прошлое.

Однако на страницах журнала «Художник» дурное прошлое чувствует себя привольно. Иногда это проявляется еще более зловеще. В заключение своей статьи Б. Вишняков делает «вселенскую смазь» 17-й выставке произведений молодых художников Москвы. Впрочем, его порядком перещеголяли авторы следующего, пятого номера журнала, который чуть ли не наполовину посвящен этой выставке. Она уже достаточно подробно обсуждалась на страницах печати, «Огонек» тоже участвовал в этом обсуждении, и нет нужды к нему возвращаться. Каждый волен иметь свое мнение. Но есть этические нормы полемики. В конце концов на упомянутой выставке участвовала художественная молодежь советской столицы, и никому не дозволено оскорблять ее гражданское достоинство. Между тем «Художник» изображает ситуацию таким образом, будто на Кузнецком мосту высадился некий десант наемных агентов-«модернистов». Буквально так!

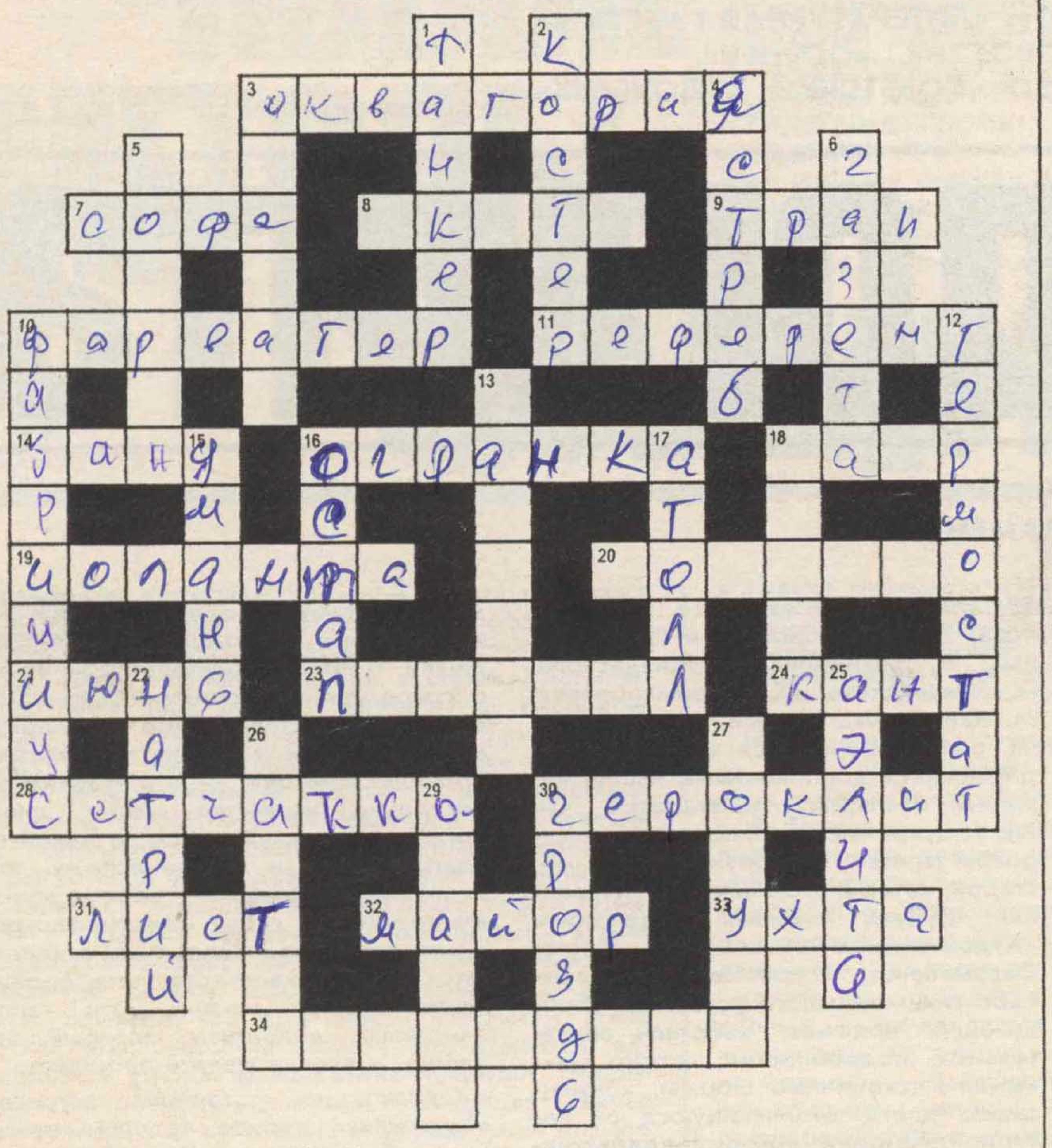
Автор журнала Ю. Бондаренко, процитировав благоглупости некоего американского советолога Р. Темпеста (полагающего, что советскую идеологию можно «сокрушить с помощью поп-музыки и пиццерий»), затем продолжает: «И то, что XVII молодежная выставка пользовалась популярностью, то, что на выставку стояла очередь (чем очень горды ее организаторы), говорит о том, что усилия гг. темпестов не пропадают втуне». Наши западные «друзья», резюмирует Ю. Бондаренко, «несомненно, всей душой «болеют» за нашу свободу и наше искусство и именно поэтому проявляют повышенное внимание к подобным выставкам».

Знакомые интонации, не правда ли? Именно к таким приемам политических инсинуаций прибегали рапповцы и ахрровцы. На подобный манер преследовали своих оппонентов сторонники «народного академика». Воскресни сегодня Варлам Аравидзе из «Покаяния» Т. Абуладзе, он бы тоже писал «искусствоведческие» статьи в сходном духе наветов.

Догматизм цепок. Он будет пользоваться любой возможностью, чтобы, не выбирая средств, заново утвердить свои позиции.

Необходимо помнить об этом.

КРОССВОРД



По горизонтали: 3. Участок водной поверхности в пределах порта. 7. Низкий широкий диван. 8. Короткая шутливая пьеса. 9. Судовая лестница. 10. Судоходный путь. 11. Консультант по определенным вопросам. 14. Стихотворение В. В. Маяковского. 16. Шлифовка и полировка ювелирного камня. 18. Вечнозеленое дерево, кустарник. 19. Опера П. И. Чайковского. 20. Итальянский живописец, график, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». 21. Месяц календарного года. 23. Дощечка для смешивания красок в живописи. 24. Цветной шнурок, вшитый по краю одежды. 28. Внутренняя оболочка глаза. 30. Древнегреческий философ-диалектик. 31. Выдающийся венгерский композитор, пианист, дирижер. 32. Офицерское звание. 33. Город в Коми АССР. 34. Стилистический прием, замена одного слова другим.

По вертикали: 1. Судно для перевозки жидких грузов. 2. Советский детский журнал. 3. Приток Енисея. 4. Хищная птица. 5. Толстая шерстяная ткань с начесом. 6. Периодическое печатное издание. 10. Советский военачальник, герой гражданской войны. 12. Прибор для поддержания постоянства температуры. 13. Спутник Юпитера. 15. Город в Черкасской области. 16. Персонаж повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». 17. Один из Малых Антильских островов. 18. Дикое травянистое растение, цветок. 22. Химический элемент, щелочной металл. 25. Роман А. Н. Толстого. 26. Скульптор, автор памятника Минину и Пожарскому. 27. Горизонтальное перекрытие в корпусе судна. 29. Река в Якутии. 30. Кисть цветов, ягод.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 25

По горизонтали: 3. Фрунзе. 6. Неруда. 9. Наина. 10. Полюс. 12. «Конец». 13. Гребенщиков. 14. Евразия. 16. Уровень. 17. Кросс. 18. Звено. 19. Трона. 21. Радда. 24. «Радость». 25. Вроцлав. 26. Гидропоника. 30. Ужвий. 31. Аймак. 32. Стенд. 33. Арника. 34. Руанда.

По вертикали: 1. Денеб. 2. Инари. 3. Фролово. 4. Утюг. 5. Пианино. 7. Улов. 8. Анемона. 11. Срезневский. 12. «Косоворотка». 15. Якорь. 16. Устав. 20. «Надежда». 22. Дисплей. 23. Баллада. 26. Гимн. 27. Рысак. 28. Недра. 29. Айон.

СКОРО В • ОГОНЬКЕ •

«Среди всех банд, орудующих в провинции Кундуз, Гаюрова оказалась наиболее ожесточенно настроенной против национального примирения,— говорит Шеховцов, оторвавшись от телефона.— Сразу после того, как мы закончили разгром группировки Ортабулаки, обстрелявшей Пяндж у нас в Таджикистане, было принято решение двинуться дальше на юг и блокировать Гаюра здесь, в Южном Баглане. Он трудный противник, впрочем, как и всякий бывший друг, оказавшийся предателем. Ведь раньше Гаюр был на стороне революции... Потом переметнулся в стан душманов...»

В одном из ближайших номеров читайте начало серии афганских репортажей нашего специального корреспондента Артема Боровика.

ИТАЛЬЯНСКИЙ АКТЕР И ПЕВЕЦ АДРИАНО ЧЕЛЕНТАНО ВПЕРВЫЕ В МОСКВЕ.

Было известно: он один из немногих в Италии весьма состоятельных эстрадных певцов, и его «имидж» предполагал человека хмурого, резкого, со всем набором повадок «звезды».

Но уже в Шереметьеве я увидела очень доброжелательного и, пожалуй, вполне демократичного Челентано.

«Видимо,— решила я,— все дело в его уже ставшем знаменитым страхе перед полетами, он просто еще не пришел в себя».

...Что же заставило Адриано Челентано впервые в жизни сесть в самолет?

— Благодарить следует,— заявил Челентано,—мой новый фильм «Джоан Луи», в связи с которым я приехал в Советский Союз. И, конечно, отношение ко мне советских любителей музыки.

Челентано постоянно подчеркивает, что фильму «Джоан Луи» придает очень большое значение. Поэтому именно с разговора о фильме и началось интервью, которое он дал специально для «Огонька».

— «Джоан Луи» — фильм катастроф. Речь в нем идет о Христе, второй раз перед концом света сошедшем на Землю. Основная тема ленты — то, что сегодня опаснее бомб: равнодушие, поселившееся в очень многих людях. Это равнодушие растет по мере того, как уничтожается природа вокруг нас и мы все больше застраиваем планету небоскребами. Сегодня, чтобы выжить, мы все должны беспокоиться о сохранении того человеческого, что еще существует в мире.

— В этом фильме вы выступаете еще и в качестве сценариста и режиссера. Почему? Ведь режиссеров и

МЫ О НЕМ МАЛО ЗНАЛИ

сценаристов много, в то время как Челентано один.

— Я верю в себя. И, должен сказать, я не забрасываю ни песню, ни актерство. Сейчас иду по двум «рельсам» — работаю и в музыке, и в кино. Это позволяет мне полнее реализовываться, говорить о том, во что я верю.

— Впервые вы появились на экране в фильме Феллини «Сладкая жизнь». Что вы думаете по поводу последних работ этого режиссера, кто еще из итальянских режиссеров вам интересен?

— Феллини, по-моему, огромный талант. Что касается моего отношения к режиссерам... Очень трудно найти человека, который мог бы воплотить общую гармонию... тот образ, еще не выразившийся, который хранится где-то внутри... А вообще мне очень нравится Чарли Чаплин, которого я считаю гением. И еще я нахожу какие-то вещи, которые очень близки и точно соответствуют моим замыслам, у режиссера... Челентано!

— А режиссеру Челентано не приходила в голову идея сделать фильм про себя — фильм без диалогов, построенный только на пении, уникальном владении пластикой, пантомимой!

— Да, иногда мне это приходило на ум. Но, чтобы хорошо сделать какую-то вещь, нужно время. А у меня его, к сожалению, сейчас очень не хватает.

— Видимо, из-за этого вы в последнее время мало поете?

— Ну, я бы не сказал. Я просто посвящаю музыке меньше времени, но это ненадолго.

— О том, как началась ваша популярность, я слышала такую историю. Солдат Челентано написал песню и, чтобы спеть ее на фестивале, убежал из казарм. Тогда в Сан-Ремо песня «24 тысячи поцелуев» заняла первое место...

— Да, все почти так. Но, будучи солдатом, я уже был достаточно известен. И когда в армии я написал эту песню, министр обороны, чтобы я мог участвовать в фестивале, специально дал мне отпуск на четыре дня.

— Вы даете у нас два концерта...

— Повторяю: в первую очередь я приехал в связи с фильмом. И хочу предупредить, что эти концерты не подготовлены так, как я обычно это делаю...

Концерт действительно не был подготовлен. Репетиция шла нервно. Времени оставалось мало. Челентано волновался: ведь на родине он восемь лет не выходил на эстраду с сольными концертами.

И тут выяснилось, что он не просто хочет казаться демократичным, он действительно демократичен. Интеллигент. (Поучиться у него могли бы многие из наших «звезд».) За все напряженные часы репетиции он ни разу не позволил себе даже повысить голос на работавших вместе с ним. Не получалось у хора, отрывок проходили шесть раз. Челентано же только мягко повторял: «Пожалуйста, соберитесь!»

— Что вам больше всего у нас интересно?

— Советский Союз. Он вызывает интерес и любопытство. И люди, обладающие какой-то загадкой и очарованием. За то недолгое время, что я с ними сталкивался, смог сделать вывод: удивительный народ. Я думаю, что он сохранил глубокий внутренний разум, мудрость, силу, несмотря на все невзгоды, которые принесла ему война.

Пора прощаться. Программа у Челентано напряженная, переводчик торопит меня.

Я вспомнила его экранных героев, в которых невозможно не влюбиться. И спросила:

— Сколько женщин предлагали вам «руку и сердце»?

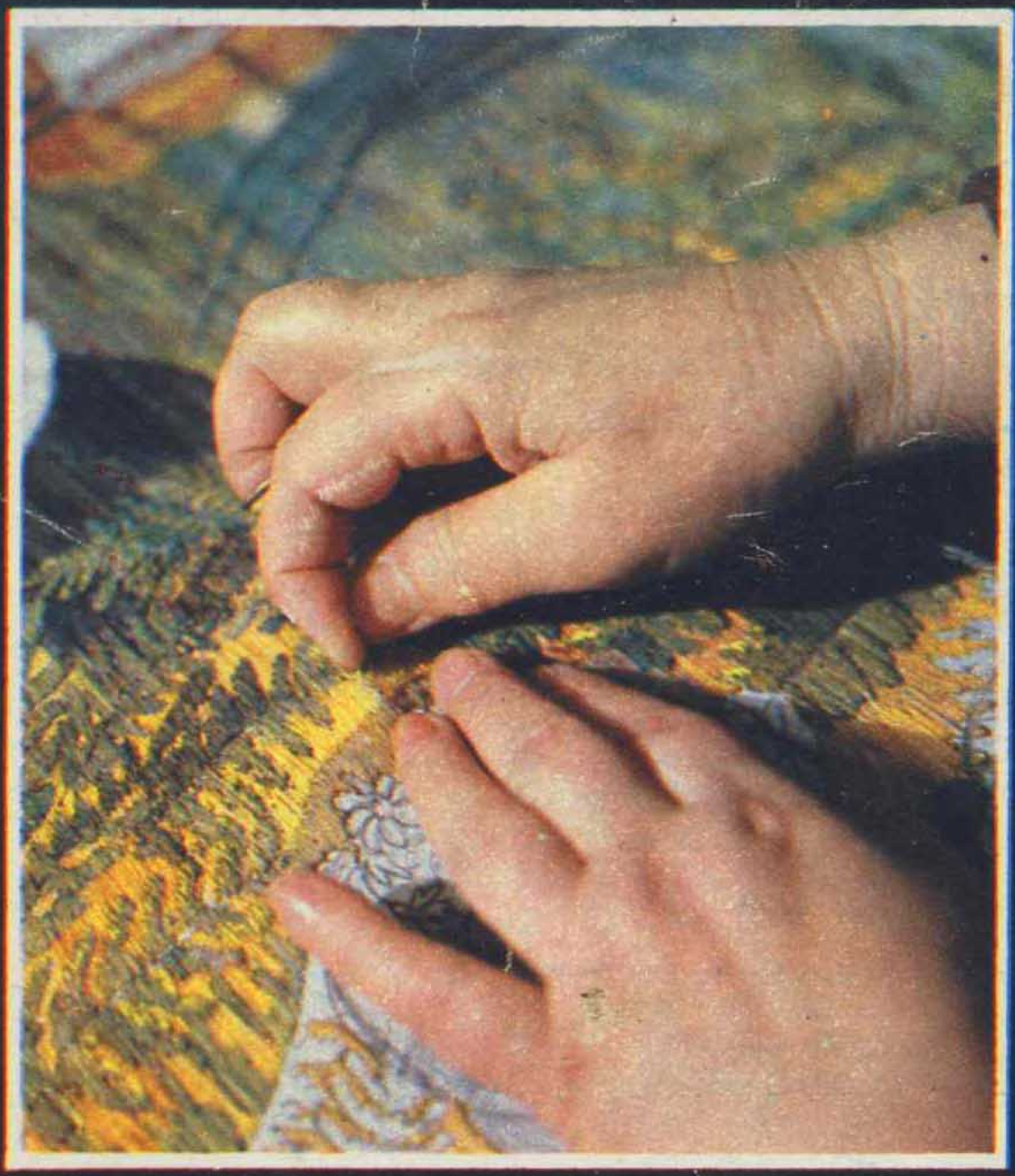
Развеселился. Потом сказал:

— Женщина — самое удивительное изобретение бога. И, по-моему, сделав это изобретение, он пошутил, устроил ловушку. Каждая женщина отличается от другой. Все разные, и мне хотелось бы жениться на всех. Но бог приказал, что жениться надо только один раз...

...И опять Челентано разрушил стереотип. Впрочем, может быть, это и есть его подлинный образ, просто мы слишком мало знали о нем.

Мария **ЮРЬЕВИЧ.**
Фото *Игоря* **ГАВРИЛОВА**

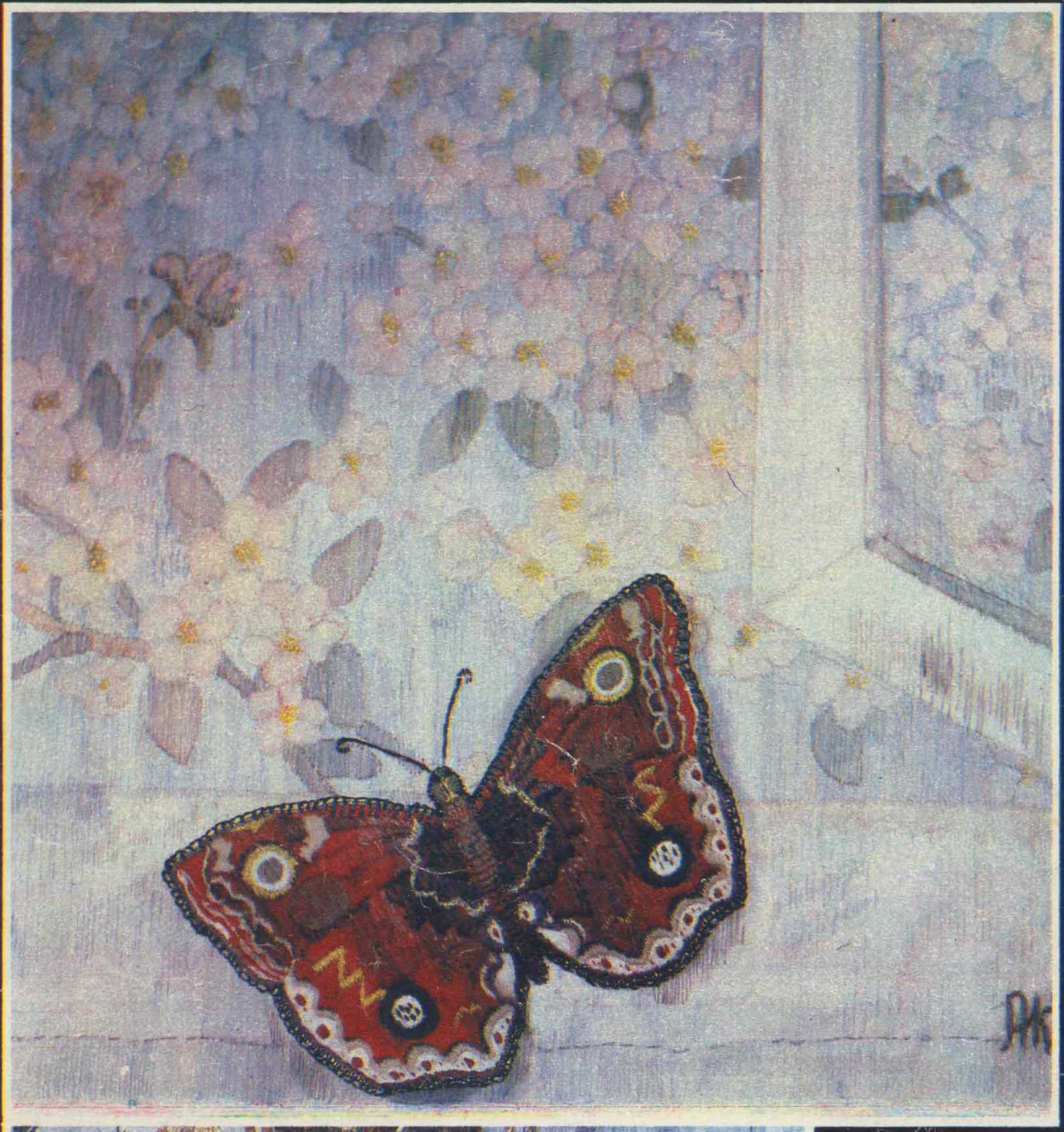
Цена номера 40 коп.



Хозяйка этого дома Алевтина Герасимовна Ковалевская — учительница русского языка и литературы. Более тридцати лет отдала она школе, теперь на пенсии. С детства занимается Ковалевская художественной вышивкой.

Техника вышивки у мастерицы особенная, свои приемы. Нити ложатся вертикально одна на другую, иногда шесть-семь слоев, чтоб добиться нужной тональности. Гладь вышивки объемна. Цветные переходы плавны. Когда не получается желаемого, срезает неудачное место ножницами, как художник соскабливает краску с полотна. Нитки применяет всякие. И обычные, бытовые, и мулине, и штопку, а из синтетики прядет нити на бабушкином веретене.

...Тихий переулок в Гродно, домик среди садов. И садится бабочка на горячий подоконник. И все повторяется, как уже было однажды,— как я увидел это на ее полотне «Мгновение».



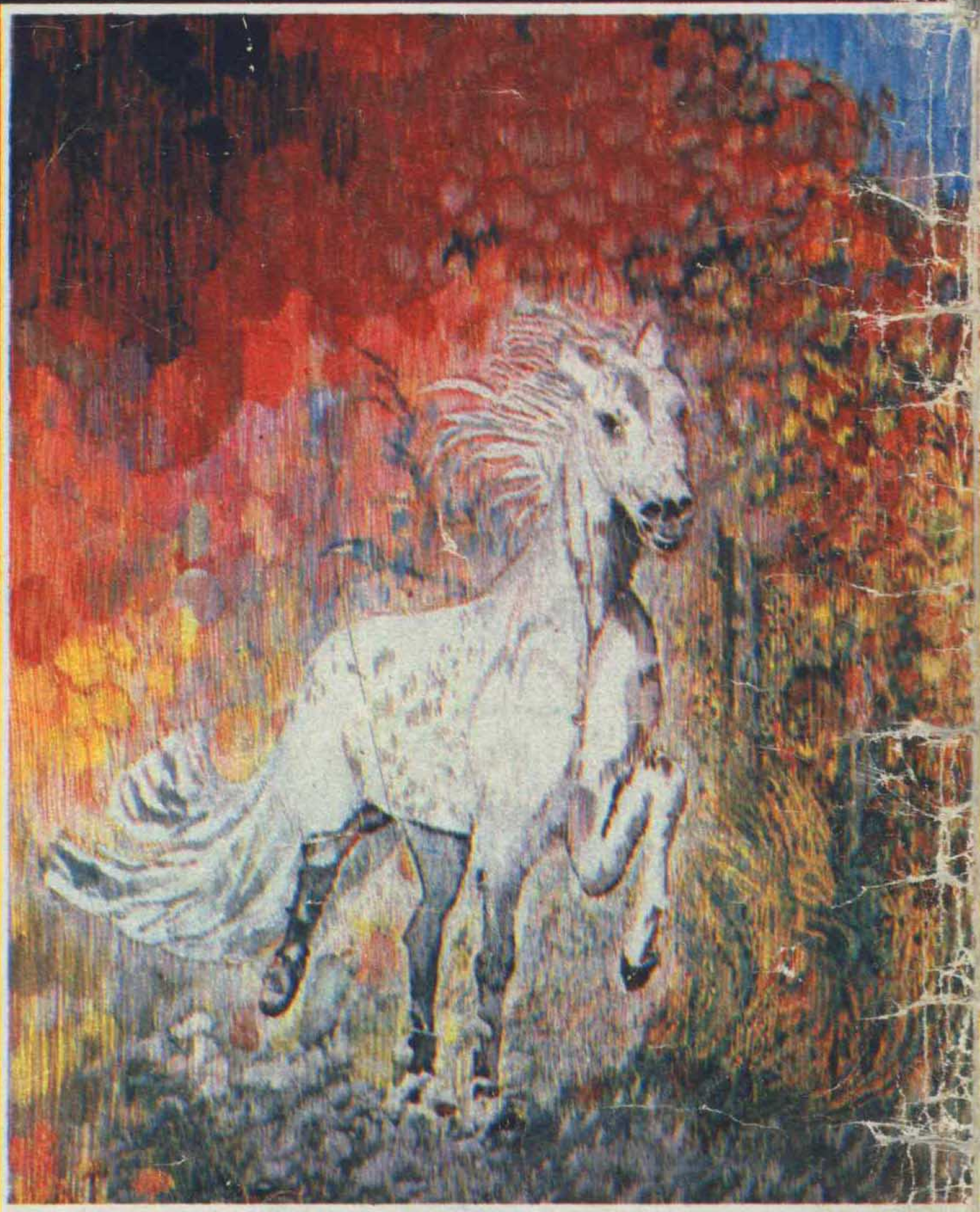


Фото Михаила САВИНА

ОГОНЁК

ISSN 0131—0097

Индекс 70663